

## Истоки.

(Окончание).

### ГЛАВА X.

*УГРЮМ-РЕКА ЕСТЬ ЖИЗНЬ ЛЮДСКАЯ. ВЕРШИНА. ГНЕТУЩЕЕ ПРЕДЧУВСТВИЕ. «ЖЕНИСЬ, БОЙЕ!». ХОЛОДНЫЙ СТРАННЫЙ СОН. «Я—СКАЗКА».*

Август перевалил за середину. Северное лето шло к концу. Вода сделалась холодной, отливала сталью. На осине и прибрежных тальниках появились блеклые листья, они трепетали при ветре, как крылья желтых птиц. Удивительно прозрачный воздух делал картину отчетливой и ясной. Издали можно было видеть, как рдеют под солнцем грозди рябины и боярки. Тишина стала настороженной, чуткой, жадной до звуков. Крик далекой иволги звучал почти рядом с Прохором, слышно было, как крадется лиса сквозь чащу, и четко плыли в ночи монотонные рыдания сов. А ружейный выстрел напоминал громовой раскат, он долго гудел и рассыпался по ущельям гористых берегов.

Угрюм-река все еще продолжала быть капризной, несговорчивой. В ее природе—нечто дикое, коварное, словно в закланной колдуном тропе. То приветливо улыбнется она, открывает меж зеленых берегов узкое прямое плесо: «плывите, дорогие гости, добрый путь!»—и шитик, сверкая веслами, беспечально движется в заманчивую даль. То, вдруг, за поворотом, неожиданно расширит свое русло, станет непроходимо мелкой, быстрой. Стремительный поток подхватывает шитик и с предательским треском сажает на мель. А вода, шумно перекатываясь по усеянному булыжниками дну, издевательски хохочет над путниками, как ловкий шулер над простоватым игроком. Тогда путники, раздевшись, долго с проклятиями бродят по холодной воде, меряют глубину, ворочают булыги, пока не отыщут ход.

И снова тихое, улыбчивое плесо, и снова ему на смену непроходимый пережат или порог. Так изо дня в день. Шивера, пороги, пережаты, запечки, осередыши.

А время шло не останавливаясь. Парус у времени крепок, пути извечны, предел ему—беспределельный в простанстве океан.

Ибрагим от раздраженья пожелтел, он скрежетал зубами и ругался, а белки выпуклых его глаз в минуты гнева наливались желчью. Прохор обкладывал Фаркова крепкой, мужичьей бранью, словно тот был виноват во всем.

— Ну, и река! Что это за река. Пережат на пережате. Глупая какая-то... Столько времени теряем...

— Река бедовая, свирепая. Уж бог создал ее так,—спокойно говорит Фарков.—Она все равно, как человечья жизнь: поди, пойми ее. Поэтому называется: Угрюм-река. Точь-в-точь, как жизнь людская. Да.

Однажды, перед тем, как пуститься в путь, Фарков сказал, кивнув за реку на лысую, стоявшую вблизи берега сопку.

— Извольте посмотреть... Вот мы от этой сопки, значит, поплывем, будем плыть весь день, а к ночи, ежели благополучно, опять к ней, только с другого бока.

— Зачем?

— А так уж, значит, матушка-река протекла,—поспешно стал пояснять Фарков.—На пути три огромных загогулины делает она, по-нашему, три мѣга. Напетляла она тут верст семьдесят с гаком, а ежели прямо сухо-путьем—полторы версты.

Ибрагим покрутил головой и плюнул

Прохор высадился на противоположном берегу и, отпустив шитик, направился таежной целиной к сопке.

Вот он на плоской, как стол, безлесной вершине. Какая высь! Пред ним сразу открылись неоглядные просторы.

Был ранний час, восток окрасился зарею, из-под земли, из таежных дебрей вздымался нежными лучами свет. Лицо тайги, приподнятое к небу, было темнозеленое, угрюмое—ночные тени еще не сползли с него, и темный дух лесов еще не спрятался в провалище. Тихо. Воздух не шелохнется. Прохор слышит, как тикают его часы. На душе его неспокойно. Там, внизу в обществе Ибрагима и Фаркова, он за последнее время все чаще и чаще стал замечать в себе тревогу, он ощущал ее смутно, неопределенно, будто невнятный предостерегающий чей-то шопот, но в работе всегда забывал о ней. А вот здесь, сейчас наедине с собою, открытый всем четырем ветрам, Прохор вновь узнал эту назойливую гостью, она резко постучала в дверь его души, она замутила его сердце каким-то гнетущим предчувствием. Ему вспомнился отец, вспомнилась мать, плачущая горько и благословляющая его в опасный путь большим благословением: «Прошенька, голубчик мой... Да сохранил тебя господь». В то время Прохор, юное неискушенное дитя, только улыбнулся. Теперь же был у него за плечами опыт: трудный пройденный путь сулил впереди бесконечные лишения. Скоро они останутся вдвоем с черкесом среди безлюдной неизведанной реки, скоро пойдут по воде туманы, а там и снег, зима. Что делать? Может быть назад? И вот лишь в этот миг юноша ясно и отчетливо уразумел кровную тревогу своей матери: «Прошенька... Да сохранил тебя господь». Прохор вспомнил, перечувствовал, не раз вздохнул. Так, неужели впереди погибель? И пало в мысль желание усердно помолиться, попросить у бога милости: да пошлет ангела-покровителя, да сделает путь его счастливым. С благоговением опустился он на покрытые росой каменные плиты, припал лицом к земле. Он усиленно морщил лоб, вздыхал, стараясь вызвать слезы, но кто-то мешал ему сосредоточиться, и он плохо слышал слова молитвы, которые шептали его губы. «Ангел мой святой, хранителю души и тела моего...» Да, да... Это она, это они мешают обе—Таня и волшебная тунгуска. Греховно улыбаются, влекут его к себе... «Хранителю мой святой, вся ми прости елико согреших словом, делом, помышлением... Но молитва не помогала: в душе хандра, развал.

Вдруг в его глаза ударил новорожденный свет, и обманные призраки исчезли. Прохор быстро вскочил и закричал громко, торжественно, от всего сердца:

— Солнышко! Солнышко!

Свежими яркими лучами брызнуло солнце в молодую душу, и смятенья как не бывало.

— Здравствуй, солнышко.—Проخور больше ничего не мог сказать, его губы прыгали. Он чувствовал в этих живительных лучах крепкого помощника, душа его наполнилась надеждой и уверенностью.

— Ты и черкес... Вас двое... Ничего не боюсь я... Солнышко!..

Дыхание Прохора сделалось ровным, неторопливым, кровь в сердце успокоилась, он вытер слезы и долго любовался расстилавшимися пред ним далями.

Прохладным, еще не разгоревшимся костром солнце медленно всплывало в бледном небе, пологие лучи его вяло блуждали по шапкам леса, покрывавшим склоны и вершины гор. И все, что никло в дреме головой, теперь раскрывало глаза, пробуждалось. Румяной позолотой окрасились крутые спины увалов, а тень в низинах и падах сгустилась. И видел с горы Проخور, как мрачный океан тайги стал наполняться позлащенными островами, где весело, утревно и пахнет смолистым духом. Проснулся воздух, свежие ветерки взвихрились над тайгой, шелковым шорохом прошумели хвои осанну лучезарному властителю земли и—вновь тишина. Только слышится хорьканье иривой белки и гордый клекот орла. Белка беспечно скачет с сучка на сучок, распустив свой пушистый хвост, вот она облюбовала шишку с орехами,—господи благослови!—поест сейчас. Но орлинные когти до самого сердца вонзились в теплый ужаснувшийся комок, и бисерные глаза зверка навек закрылись.

Прохор вскинул ружье и—бах!—Орлиная голова слетела с легких плеч, и владыка птиц камнем рухнул в пропасть. Рывкнул медведь в лого, он поднял оскаленную морду на прозвучавший выстрел и отхаркнулся кровью оленя, которого он только что задрал у холодного ключа. И началось, и началось, кровь, трепет, смерть во славу жизни. Железный закон вступил в свои права.

А солнце движется своей чередой... Какое ему дело, что творится где-то там, в земном ничтожном мире. Равнодушное, без злой воли, радости и гнева, оно все жарче, все сильнее разжигает свой костер, вот лучи его победоносно ворвались в пади и ложбины, где все еще прятались обрывки темных снов. И там посветлело, и там заструилось небесное золото, роса на хвоях запыхала. Лишь в глубоких ущельях был тот же мрак, мрак вечный, нераскаянный. Там обиталище дьявола, там страшный лесовик, Баллэй—лесной хозяин, весь закутавшись лохматой бородицей тяжело дрыхнет, вылупя глаза.

Прохор медлил уходить. Для взора все теперь стало отчетливо и ярко. Сверкала под солнцем Угрюм-река. Она казалась отсюда тихим извивным ручейком. Что это чернеет на ней маленькой козьявкой? Неужели шитик?

Внизу, недалеко от подножья сопки, вьется тонкая струйка голубого дыма.

— Ага, тунгусское стойбище.

На яркозеленой, облитой солнцем поляне торчали тремя маленькими бурыми колпаками три остроконечных чума. Проخور закурил папиросу и торопливо стал спускаться с сопки. Он так много слышал от Фаркова об этих сказочных людях—тунгусах, но ни разу не видал их вплотную. Прохору начали попадаться олени. Крепкие, красивые, с раскидистыми рогами, шерсть лоснилась под солнцем, черные глаза блестя. А некоторые были облезлые, новая шерсть еще не отросла, они прихрамывали, на ногах, повыше копыт, гноились раны, в которых кишели белые черви.

— А-а люча\*) прибежал, русак! Здраста, бой ё!

\*) Люча—русский.

Мелкими шажками, приминая белый кудрявый мох, подходил к нему старик-тунгус.

— Здраста!—проговорил он гортанным голосом и потряс протянутую руку Прохора.—Как попал, бое? Зачем? Торговый, нет? Огненный вода есть, нет? Порох, дробь, цакар, чай? А?—старик прищурил раскосые узенькие глаза и улыбнулся всем своим безволосым, в мелких морщинах, лицом.

— Айда!—махнул рукой тунгус, и они пошли. Тонкие стройные ноги старика, в замшевых длинных лунтах, четко отбивали быстрые шаги. Ловкими ударами длинной, похожей на рогатину, пальмы тунгус ссекал молодые деревца, стоящие на пути.

— Зачем рубишь? Можно обойти, ведь!—крикнул едва поспевавший за стариком Прохор.

— Мой прямо ходит... Ромно стрела летит...

Вскоре меж чащи леса заблестела река.

— Куда, бое, низ бежишь на шитике?—спросил тунгус, когда вышли на берег.

— В Крайск, бое, в Крайск. Доплывем?

Тунгус удивленно посмотрел на него и потряс головой:

— Нет. Сдохнешь.

Прохор начал возражать, горячо заспорил, но тунгус стоял на своем:

— Совсем твоя дурак... Зима скоро... Шибко далеко, бое. Боро-ни-и-и бог.

В стойбище жили три семьи. Пылал огромный костер—гуливун,—возле него суетились бабы, старые и молодые, они стряпали, варили в котлах мясо. Сухопарый тунгус в грязнейшей рубаше и с длинной, черной, как у китайца, косой, ссекал с мертвой оленьей головы рога. В стороне сидела жирная старуха с голой неизмеримо грязной грудью. Она скребла острым скребком растянутую оленью шкуру, выделявая из нее замшу—рөвдугу. Возле нее стояло сплетенное из бересты и обмазанное глиной большое корыто, доверху наполненное прокисшей человеческой мочей, в которой дубилась кожа. Старуха все время что-то бурчала себе под нос толстым голосом и страшно потела от усилий:

— Э, бое... Э!..—она не умела говорить по-русски, но Прохор понял, что она просит ружье. Глаза ее вспыхнули.

Старик-тунгус, все время не покидавший Прохора, сказал ему:

— Это мой баба... Шибко хорошо стрелят... Медведя бил, самого ами-кәна-батюшку... Шибко много... Борони-и-и бог... Вот слепился... Мало-мало кудой глаз стал...

Старуха вертела в руках ружье, прищелкивала языком, вскидывала на прицел: «бух-бу-х!» и радовалась, как ребенок.

Над небольшим костром у чума суетилась в работе молодая женщина. Ей жарко—солнце припекало не на шутку—она по пояс нагая, только грудью как прикрыта синим халми\*), вышитым бисером и отороченным лисьим мехом.

В разговорах со стариком Прохор воровским взглядом ощупывал стройную фигуру женщины от черных с синим отливом волос до маленьких босых, покрытых грязью ступней.

— Это мой дэчка...—сказал старик.—Мужик сдох, окошел маленько. Одна осталась. Больно худо, совсем худо... Мальчишку надо, а не рожает...—и голос старика стал грустным.—Я богатый: много олень, пушнина, да то, да се... Умру, кто хозяин? Ой, шибко мальчишку надо... Вот останься, бое, по-

\*) Халмине—большой кожаный нагрудник.

живи мало-мало. Она шибко жарко обнимат, хе-хе-хе... Борони Бог как. Рази кудой баба? А? Оставайся, любись...

Прохор сконфузился. Молодая вдова, видимо, понимала по-русски. Она кокетливо изогнула свой тонкий стан, отчего бисерный нагрудник упруго поднялся, и украдкой улыбнулась Прохору.

— Какой тебе год? Двасать пять будет?—спросил старик.

— Нет, семнадцать,—смутился Прохор.

— Ей Бог? Тогда не нужно... Семнасть—чего тут... Тьфу твоя дело!—запыхтел старик.

Прохор покраснел. Тунгуска выпрямилась, опустила глаза, что-то сказала тихо и вздохнула.

— Может на шитике шибко большой мужик есть? А?—сюсюкал горнанным голосом старик.—Шибко надо...

Четыре девочки с любопытством разглядывали Прохора, шептались, тыча по направлению к нему пальцами, на которых белели серебряные кольца. Потом вдруг все засмеялись, словно защебетала веселая стая птиц, и кинулись навстречу высокой молодой девушке.

— Другой дочка,—сказал старик.—Шибко молодой... Ашадка, девка... Шибко сладкой. Ну-ка, гляди-ка...

Прохор поклонился ей, сняв шляпу. Но девушка, направляясь с ведром к реке, прошла молча, даже не взглянула на него. Ее гордо поднятая голова была в яркозеленом тюрбане, оттенявшем смуглый румянец ее щек, оранжево-огненный камзол с красными широкими полосами по борту и подолу плотно облегал гибкую талию, позванивали и блестели серебряные украшения на груди и чеканные браслеты, обхватившие запястья девических тонких рук. А ноги—в цветистых сплошь шитых бисером сапогах.

Двигалась девушка быстро, чуть подрагивая бедрами и рдела под солнцем в своем оранжевом камзоле, как столб пламени.

У Прохора замерло сердце. Он прошептал:—Вот так красавица...—ему захотелось догнать ее.

Старик хлопнул Прохора по плечу и скрипуче засмеялся, прищелкнув языком:

— Скусна! Вот, женись!... Оставайся, тайгам гулять будешь амикана-дедушку промышлять, белковать будешь... А? Все тебе отдам, всех оленей, на!!!

— Вот года через два приеду, женюсь,—улыбнулся Прохор.

Старик безнадежно засвистал:

— Сейчас женись!.. Чего ты...—и голос его стал серьезным.—Два года двасать местов будем, не найдешь... Мой сидеть не любит, тайгам гулял, все смотрел... Чего ты! А девка самый кус... О-о, какой девка!.. Не дай Бог,—старик почмокал и сглотнул, потом потащил Прохора в тайгу.—Вот пойдём, оленей глядеть будем, хозяйство... Женись, бойе, женись... Верно толкую, чего ты!

И крикнул:

— Эй, бабы!.. Жрать скорей работай!.. Гость угощать надо... Шибко скорей!..

Ночь надвигалась тихая, звездная. Прохор лежал возле костра на берегу и поджидал запоздавший шитик. От нечего делать он просматривал записи в своей книжке. Старик-тунгус сообщил ему много любопытных сведений. Он знает теперь, где кочуют тунгусы и куда выходят они зимой, чтоб обменять богатый зверовой улв на ничтожную подачку от русских торгашей грабителей. Прохор приедет сюда и все устроит по-иному: пусть вздохнет сво-

бодно этот гостеприимный, ласковый народ. Или вот еще: та сопка, на вершине которой он был утром, оказывается, имеет в себе медь. В его руках кусок металла, найденного стариком в каменном обрыве сопки. Старик проговорился также и про золото, тунгусы знают, где оно родится, но не хотят сказать, а то придут, мол, русские и повыживут из тайги все их племя. Нет, лучше пусть лежит в земле!

Кончено! Прохор будет здесь работать, проложит широкие дороги, оживит этот мертвый край, разделает поля, а главное—схватит вот этими руками реку и выправит ее всю, как тугие кольца огромного удава. Обязательно, обязательно все будет так. Прохор Громов только начинает свою жизнь. О, погодите!

Лицо юноши в эту минуту казалось суровым, меж бровями легли глубокие складки, и старческие прибудыши-морщины протянулись от углов губ.

А все-таки, как хороша эта девушка! Вдруг он женится на ней... Мать, наверное, согласилась бы, а вот отец... Во всяком разе—вернется домой—поговорит. Ну, и чудак этот старик тунгус. Славный старик, хороший. Разыскал спирту, напился пьян, угостил Прохора и все уговорив его остаться в тайге с его дочкой. Хвалил ее на все лады, а, подвыпив, строго приказал дочке раздеться: пусть бойе посмотрит, ничего, надо показывать товар лицом. Пусть. Когда старик стал кричать на девушку и махать кулаками, та с хохотом убежала вон и больше не возвращалась. А старуха ударила его в лоб замазанной тестом ложкой, старик заплакал, лег возле костра и, свернувшись калачом, тотчас же уснул.

Лицо Прохора вновь стало юным. Он лежал, закрыв глаза, на губах улыбка. А думы безудержно уносили его все дальше, дальше.

Тишина. Всплескивают весла. «Должно быть, шитик». Нет, это камыши шумят. Нет, соболь крадется к задремавшей птице.

— Бойе... Проснись, бойе...

Прохор открыл глаза. Склонившись над ним, сидела девушка. Маленькие яркие губы ее улыбались, а прекрасные глаза были полны слез.

— Значит, хочешь уйти, покинуть?

— Да, хочу...—сказал Прохор и ему стало жаль девушки.—А может быть останусь. Поплывем с нами.

— Нет, нельзя... Я в тайге лежу. Меня караулят.

— Что значит—лежу? Кто тебя караулит?

— Шайтаны,—сказала она и засмеялась печальным смехом.—Еще караулит отец. Она совсем, совсем хорошо говорила по-русски, и голос ее был нежный, воркующий.

Прохору лень подниматься. Он взял ее маленькую руку и погладил.

— Как тебя звать?

— Синильга. Когда я родилась, отец вышел из чума и увидел снег. Так и назвали Синильга, значит—снег... Такая у тунгусов вера...

Звезд на небе было много. Но самоцветных бусинок на костюме девушки еще больше. Прохор ласково провел рукой по нагруднику-халми. Грудь девушки всколыхнулась. Она откинула бисерный халми и прижала руку юноши к зыбкой своей груди:

— Слушай, как бьется птичка: тук-тук!—Она совсем близко заглянула в его глаза. Нашла его губы, поцеловала.—Бойе, милый мой,—в голосе ее укорчивая тоска, молящий стон.

Прохору стало холодно, словно метнуло на него ветром из мрачного ущелья.

— Вот, лягу возле тебя... Обними... Крепче, бойе, крепче!.. Согрей меня... Сердце мое без тебя остынет, кровь остановится, глаза превратятся в

лед. Не ветер сорвет с моих щек густоцвет шиповника, не ночь погасит огонь глаз моих. Ты, бойе, ты! Неужели не жаль меня?

Прохор в этот миг заметил сидевшую на обрывистом камне над самой водой молодую вдову тунгуску, грудь ее дрожала от глухих рыданий, и черные распущенные волосы свисали на глаза. Прохору вдруг захотелось причинить девушке боль, страдания и он сухо сказал:

— Нет, Синильга, не жаль тебя. Вот ту жаль...

Синильга молча встала и, подбежав, столкнула вдову в реку, а сама возвратилась, холодная.

— Неужели густые сливки хуже прокисшего молока? Эх, ты...—сказала Синильга и легла возле него на золотом песке.—Не любишь, значит?

— Я другую люблю,—прошептал Прохор, не в силах оторваться от влекущего к себе лица Синильги.—Ты прекрасна, но та лучше тебя во сто раз.

— Ах, бойе,—вздыхнула девушка и вся померкла.—Оставайся здесь, оставайся. Я научу тебя многому. Ты любишь сказки страшные-страшные? Я сказка. Ты любишь песни грустные-грустные? Я—песня, а мое сердце—вольшебный бубен. Встану, ударю в бубен, поведу тебя над лесом, по вольному бездорожному воздуху, а лес в куржаке, в снегу, а сугробы глубокие, а мороз лютый и возле месяца мутный круг. Ха-ха-ха!.. Ой, горько мне, душно!

И она заплакала и стала срывать с себя одежду, но не могла этого сделать: словно холодное железо пристыла одежда к ее телу. Плакала Синильга долго, ломала руки в последней тоске, и плач ее сливался с другим плачем: взобравшись на скатный белый камень, видимый среди ночи при свете звезд, навзрыд рыдала с того берега вдова.

Прохору все еще лень подняться, он только слушал и ничто не удивляло его.

— Не верь вдове! Она притворщица: плачет о том, чего не было, ищет, что не теряла.

Синильга все ближе придвигалась к нему, он отодвигался.

— Ты холодна, как снег, Синильга.

— Я снег и есть. Милый, дай руку, дай я надену тебе кольцо. Вот, носи, бойе... Оно проклятое, колдовское... Оно принесет тебе счастье и несчастье... Вспомяни меня.

— Синильга! Если-б ты была она, я бы любил тебя.

— Бойе! Я и есть—она, она и есть—я... Разве не узнал?

— Я никогда не видал ее. Я только слышал про нее сказку...

— Я—сказка!..

— Та—мертвая... Но я возвращу ей жизнь.

— А я не мертвая? Я, по-твоему, живая? Бойе! Вот, поцелуй меня жарко, жарко. Брось меня в костер твоего сердца, утопи меня в горячей своей крови, тогда я оживу. Ох, тяжело мне лежать одной и хо-о-лодно...

Прохору стало жутко. Он придвинулся вплотную к костру и никак не мог оторваться взором от Синильги: столь прекрасна она была.

— Значит, ты шаманка?! Та самая, что...

— Та самая.

Словно льдина прокатилась по спине его. Здрожав, он крикнул:

— Врешь!!!

— Прохор Громов!—вещим, резким голосом прозвенела Синильга.

— Откуда ты знаешь? Ты кто?—весь холодея, юноша вскочил.

Та же ночь была, тихая, звездная. В ушах Прохора глухо звучало:

— «Будешь умирать—приду»...

Прохор перекрестился и вздохнул. Он хотел тотчас же записать этот странный сон, но отложил до завтра: голова была тяжелая, слипались утомленные глаза.

— Вставай, что же ты... Эй, Прошка!

Шитик готов к отплытию. Солнце ударяло Прохору в лицо. Он поднялся. На указательном пальце левой руки блестело серебряное, со змеиной одноглазой головой, незнакомое кольцо. Прохор смутился, снял его и, крадучись от Ибрагима, спрятал в карман, стараясь припомнить вчерашний день.

— Что за чертовщина такая.—От разбавленного водой спирта, что угощал его старик, у Прохора в голове и во рту до сих пор скверно.

На берегу стояла группа тунгусов—мужчин и женщин. Они вышли взглянуть на шитик и пожелать счастливого пути.

Прохор подошел к старику и спросил его:

— А где Синильга?

— Какой Синильга? Нет такой... Может, мой девка, дочка? Он в чуме сидит, хворает.

Прохор дико смотрел на него и тер недоуменно лоб. Он хотел передать кольцо старику и не решался.

— «Разве спросить вдову, может быть, она знает, чье это кольцо и каким чудом оно к нему попало?».

Но Ибрагим еще раз крикнул с шитика:

— Прошка, плывем!!!

## ГЛАВА XI.

*ТЕМНАЯ БЕРЛОГА. СЛЕПЕНЬ И КАРАСИ. «В ПОКРОВ УМРУ»... ОСЕННЯЯ ЗИМА. ОБМАННАЯ ДОРОГА. ПРОКЛЯТЫЙ ГУСЬ. СХВАТКА.*

В самом конце августа путники с большими лишениями, через упорную борьбу с рекой, наконец, прибыли в Ербохомохлю, последний населенный пункт.

— Жалко расставаться с вами... Ну, и жалко,—искренним голосом сказал Фарков,—Дуже привык я к вам... Ей богу.

Как ни упрасивали его Прохор с Ибрагимом, чтоб не оставлял их, Фарков не соглашался:

— У меня там сын, хозяйство. Как спокину? Ведь ежели плыть, дай бог к пасхе домой-то вертануться... Много тысяч верст надо обратно-то околесить. Баба подумает, что утонул. Нельзя, братцы.

Фарков попрощался сначала с Ибрагимом, потом подошел к Прохору и обнял его, как сына:

— Ну, Прохор Петрович, прощай, дружок... Много тобой довольны... Значит, через годик будем поджидать тебя. Так-то...—Он отвел Прохора в сторону:—Иди-ка, паря, на пару слов,—и, усадив его на заваленку возле избы, заговорил тихо и трогательно:—Вишь что, Прошенька. Ты хорошень об-мозгуй дело-то, плыть ли. Поздно, смотри. Вдруг замерзнете, а? Ведь дальше ни души не встретишь.

— Я решил плыть.

— Смотри. Надо мужиков расспросить здешних, стариков. Может, бывал который. Ну, ладно, авось бог пронесет... А вот еще чего...—он положил ему на плечо руку и совсем тихо зашептал:—Тунгуска-т, шаманка-т, мертвая-то... Вель ее и впрямь Синильгой звали... Вспомнил, ей богу право... Синильга, как есть.



Прохор вопросительно, с внутренней дрожью взглянул на него:

— Ну, и что же?

— А то, что не шибко-то накликай ее. Избави господи: прицепится—с ума сойдешь. Такие-то, сказывают, по ночам кровь сосут. Ежели будет манить тебя, ты больше молитвой. Бывало случаев разных много.

— Ерунда какая,—овладев собой, презрительно ухмыльнулся Прохор.

Фарков купил лошаденку и верхом уехал в тот же день.

Прохор с Ибрагимом осиротели.

Ербохомохля—маленькое захудалое село. Есть деревянная церковь, но колокола ее давным-давно безмолвствуют: пятый год нету постоянного священника, лишь раз в год приедет благочинный, отпоет на погосте всех огулом, кого зарыли в землю, окрестит ребят, потом пойдут своим чередом веселые свадьбы, благочинный как следует дорвется до дарового угощения и, весь опухший от вина, возвращается домой. А в народе—горький смех, глумленье, истинные слезы: верующий стал невером, маловерный на все рукой махнул: «обман, мошенство».

Жители в селе Ербохомохле—старожилы. Предки их перекочевали сюда из Руси еще при царе Алексее Тишайшем, частью беглые от крепостного права, от солдатчины или осевшие тут казаки, что отвоевали когда-то земли сибирские. Теперь добрая половина жителей занималась звероловством, часть—допотопным способом ковыряла землю, что-то сеяли и были в полной кабале у суровой обманчивой природы. Остальная же часть, не малая, были ст'явленные жулики. Они обманывали соседей, друг друга, отца, брата и кого придется, по преимуществу же беспомощных, простодушных тунгусов, в большом числе ежегодно собиравшихся сюда с богатыми дарами тайги на ярмарку в день зимнего Никола. Приезжали на эту ярмарку и тароватые купцы из ближнего городишка, торчавшего где-то за полторы тысячи никем не меренных верст. Приезжал и сам господин становой пристав—око царево—и урядник, а то и пастырь на случай духовных треб.

В сущности это не ярмарка, а денной грабеж, разбой, разврат и пьянство. Почти никто не уходил отсюда цел душой и телом. Были изувеченные в драке, вновь испеченные покойники или приявшие лютую смерть от лютого мороза—оберет торгош до нитки, даст в дорогу огненной воды—вина,—обтрескается тунгус, замерзнет, все следы скрыты. Были потерявшие от горя рассудок и на всю жизнь ставшие калеками, были награжденные дурной болезнью или чем-нибудь в том же роде.

Всяк уносил обратно в тайгу проклятия на русские порядки, на судьбу, на жизнь—эх, лучше б не родиться, будь прокляты мать с отцом!

Начальство же проявляет показную деловитость: кричат, распекают, пишут протоколы, грозят торгошам тюрьмой—актеры не без дарований,—в конце же концов, набив «в честь благодарности» торбы соболями, в веселых мыслях спешат домой.

Все это и многое другое Прохор узнал до тонкости от крепких, хороших старожил, его книжечка с записями пухла—подшивал листки.

Он зашел к братьям Сунгаловым, почтенным старикам. Старшему—Никите—древнему, как седые волны, было сто шесть лет, что не мешало ему владеть крепкой головой.

Он сказал Прохору:

— Поезжай. Ежели планида у тебя счастливая, доплывешь. А нет, так и в лужине, браток, потонуть можно. Всякому свое указано.

Младший же, девяностолетний брат, которого Никита называл, по старой памяти, Спирькой, предостерегал Прохора:

— Скоро зима, мотри... Вот-вот и мороз хватит. Здесь самый север живет, самый студеный край наш... Паря, не шути.

— Теперя быстрина пойдет, подхватит шитик-то во как!—возражал Никита, выпрямляя свою сутулую широкую спину.

— Какая же, братец, быстрина? На перекатах еще туда сюда, ну а в плесах-то?

— Под-д-хватит,—стоял на совет Никита.—Ты, Спирька, трусу празднуешь.

Проход спросил:

— А сколько считаете верст до устья?

— Тыщи полторы.

— Порогу, паря, берегись...—сказал девяностолетний Спирька.—Порог свирепый, живо в глыб утянет, твой шитик в щепы расшибет.

— Река сама себя укажет, знай не зевай. На все воля божья, ничего,—и дед Никита пристально поглядел на Прохора побелевшими от старости глазами.

Ибрагим меж тем до поздней ночи ходил из избы в избы, искал проводника. Но ни один человек плыть не соглашался:

— Какая неволя? Лучше дома умереть, чем на прямую погибель ехать.

Ибрагим давал сто рублей, давал двести, но все упорно отвечали:—Нет.

Ибрагим изрядно приуныл.

Ночевали на земской, а шитик караулил нанятый за стакан вина пьющий мужик. На дворе по-осеннему холодно, ветер завывал в трубе, и стекла от кипящего самовара сразу запотели. Путникам приятно было сидеть в теплой избе, укрывшись от непогоды.

— Может, последнюю ночку так,—прустно сказал Проход.

Ибрагим молча, сосредоточенно пил чай и вытирал потную лысину грязной тряпичей.

— Ты, Прошка, не захворал ли?

— Нет,—ответил Проход,—а так чего-то...

Он вспомнил о доме, о родителях. Захотелось приласкаться к матери,—она так любит его, так бережет, угощает малиновым вареньем... С каким бы удовольствием с'ел он хорошую долю сладкого пирога с густыми, густыми сливками, или тарелки три киселя из облепихи. Так наскучили эти сухари, эта рыба, это оленье мясо, все одно и то же, сегодня, завтра. Разве бросить все к чертям? Нет, взялся за дело—делай.

Ветер толкался в утлые рамы, плохо вмазанные стекла уныло дребезжали и попискивали, как издыхающие комары.

— Ты, Ибрагим, о чем думаешь?

— Ни о чем.

На самом же деле думы Ибрагима были мрачны. Его охватило сомнение. Куда плыть, зачем? Ведь впереди ни одного жилого места, безлюдье, дичь. Кого же Проход будет там расспрашивать? Это шайтан, а не отец! Зачем он послал сына на такую явную погибель?

Лампа горела тускло. На печи сидел жирный кот, от безделья он умывался и поглядывал на незнакомых желтыми, как осенние листья, глазами. Вошел, пошатываясь, босой мужик-хозяин. Черный, лохматый, растрепанный, словно после драки. Он рыгнул, поскреб поясницу, сел на пол и стал что-то говорить. Но во рту будто каша,—мямлил, и выговор он имел странный: скалы называл «школы», «сохатый шол» у него звучало: «шохатый сол». Гнусаво и тягуче рассказывал про медведей, про их повадки, как охотники запи-

рают медведя в берлоге елками, срубят небольшую елку да в берлогий лаз и сунут, а медведь сгребет елку да к себе, еще сунут—он опять к себе.

— Вию к шобе, да вию к шобе...

— Пошел вон!—желчно крикнул на него черкес.

Мужик поскреб с ожесточением обеими руками лохмы, раскачался, встал и, рыгнув на всю избу, вышел.

Ложась, Прохор сказал:

— Давай загадаем, Ибрагим. Если завтра солнышко будет—поплывем. А нет, назад вернемся.

Ибрагим согласился, но прибавил:

— Ежели назад, зима ждать надо.

Прохор знал, что обратно отсюда нет иной дороги, кроме водного пути, а берегом не проехать даже и «на вершних», как здесь называли заседланных коней, потому что многочисленные, быстрые притоки Угрюм-реки не имели паромных переправ, да жители в них и не нуждались. Куда им ездить, что смотреть? Весь мир для них—своя собственная деревня, непроходимая тайга, болото. Кругом простор, и нет простора: ноги крепко вросли в землю, душа без крыл.

«Удивительно живут люди, камни какие-то, пни»,—размышлял Прохор, засыпая. Его юная душа вся в желаньи жить, видеть, узнавать. Он вдоль и поперек из'ездит всю Сибирь, всю Россию... А может и весь свет. Но когда это, когда?! Он потрогал пробивающиеся усы. «Чорт его знает, только семнадцать лет еще... Мало как...».

Однако, мечтам нет дела, что он юн—влекут его по волшебному пути, усыпают путь цветами: то он мчится на собственном автомобиле в Америку, то правит океанским пароходом, бьет китов, тюленей или—вот потеха!—он Дон-Кихот, Ибрагим—Санчо Пансо, оба, закованные в латы, яро бьются с шайтанами, чертями, со всей таежной нечистью, они освободят красавицу Синильгу от мертвого дьявольского сна и повезут ее, живую, веселую, унизанную скатным бисером в хрустальный свой чертог. А дальше, а дальше? Что же дальше?.. Спальня. Обои в спальне красные. Лампа-молния с красным стеклом. Огонь в лежанке красный. И Синильга, маков цвет, тоже во всем красном. Кровать широкая двуспальная под золотым парчевым красным пологом. Горы краснобархатных подушек и одеяло ярко красное... Прохору душно. Прохору жарко. Красная кровь захлестнула красными волнами душу, душа вспотела, распалась. Хочется Прохору сорвать одежды с красавицы Синильги, скорей, скорей!.. А что же дальше? Свадьба. Шумный пир. Гости кричат: «горько, горько!». Гости ждут. Прохор наклоняется к Синильге: «Таня!»—«Нет, Синильга! Я шаманка, могу кем угодно быть». Вот грохнула в честь их пушка, потом трескучий барабанный бой.

Прохор открыл глаза и не мог сообразить, где он. Было темно, душно и пахло дрянью. В ногах, к нему мордой, сидел кот, глаза его польхали. Ибрагим громко, заливчато храпел с каким-то злобным отчаянием.

А сон еще не кончился, сон бушевал в молодой крови. Синильга возле, тут, и полуоткрытые губы ее ждали поцелуя. Вдруг—снова пушка. Прохор захохотал и ткнул Ибрагима в бок:

— Спать мешаешь!

Вспомнив наказ Фаркова, Прохор перекрестил изголовье, сам перекрестился—лег.

— Эй, вштавайте, шамовар вшкипел!

Путники враз вскочили.

— Солнышко!—вскричал Прохор.—Гляди-ка, Ибрагим!.. Значит, едем.

— Верно твоя,—грустно сказал черкес.

— Погодье шамо шладко,—прошепелявил лохматый, обросший мохом лесовик-хозяин,—жнай пльиви да пльиви.

Путники почаявали и быстро к шитику. Небо безоблачно и тихо. Играл золотом крест на церкви, дрались два петуха—красный с белым—бороды и гребни их расклеваны, капли крови горели под солнцем, как рубины, через дорогу степенно шествовал, мечтательно похрюкивая, боров, он весь заляпан жидкой грязью и блестел, как покрытый лаком. Навстречу шла за водой тетка. Жестяные ведра ее сияли и казались сделанными из стекла.

— Нажад паря, нажад!—заорал провожавший путников хозяин,—айда в проулок!

— Почему?—удивился Прохор.

— Ешли баба вштречь—пути ня будя...

Путники повиновались: пусть все благоприятствует их удаче. Хозяин объяснил им, что зловредней бабы никого на свете нет. Вот попробуй-ка встретить ее, когда идешь в тайгу на промысел. Ни с чем вернешься, а то и на зверя «натакашься». Но баба может и помочь. Пусть она станет в дверях да расшаршит ноги, а ты с ружьем промежду ног-то на карачках и ползи, очень пользительно таким же манером и главную собаку протащить.

Хозяин попробовал улыбнуться, но, вместо того, скривил кислую, шершавую, как старый веник, рожу и чихнул.

У шитика человек с десяток зевак. Пьющий мужик—караульный в шубе, в пимах и шапке с наушниками—терпеливо прел, и рыжая борода его на солнце пламенела.

Шитик круто взял к фарватеру, заскрипели весла, недовольно забрюзжала сонная вода.

— Ну, Прошка... Куда едем? Знаешь, куда?

— Нет.

— И я нэт. Очень хорошо.

Но река здесь глубока, раздольна, за селом их подхватил стрежень, вперед летели без запинки, а солнце напутствовало их ласковым теплом. Лицо Прохора вскоре прояснилось, глаза горели несокрушимой верой в себя, ему уже грезился радостный конец пути, хотя это было всего лишь скрытое неизвестностью начало. Так легковерный пахарь, бросая в землю зерно, обманно чувствует пряный запах свежих караваев, он облизывается, поводит челюстями, глотает слюны, но вот слепая длань природы пошлет на его полоску град, и брюхо пахаря всю зиму пусто.

— Хорошо, Прошка. Ух, как прет!

Взглянув Ибрагиму в лицо, Прохор почувал нутром, что глаза черкеса говорят другое, и ничего ему не ответил.

Над водой курился пар; солнце с утра сосало воду. К полудню солнце было горячее, летнее, видно, сбилось оно со счету в днях, остановило на мгновение бесконечность, попятило раком утлый шар земли, и все это ради них, ради этих двух, плывущих.

Но Ибрагиму достаточно понятен этот полный жестокого коварства замысел.

— Ты помнишь, Прошка, как Фарков на большой муха... Как она? Слепень? Ну, ну... как он карасей ловил? А? Карась, знаешь кто?

— Не знаю.

— Мы. Один да другой.

— А слепень?

— Не знаешь, что ли?—и углы губ Ибрагима полезли вверх.—Во!—  
ткнул он веслом в солнце.

Проходор недоумевающе хлопал глазами.

— Ишак!—рассердился Ибрагим и фистулой внезапно закричал:—Камень, камень, камень!!

Шитик ударился бортом о подводный валун, над которым чуть взмыривали волны, качнулся вбок и, слегка раненый, поплыл дальше.

— Правь верней, чего зеваешь!—крикнул Проходор.

Но дальше пошло спокойное плесо, зато и шитик стал подвигаться медленно.

— Кто это? Эй, Прошка?—шевелинулся в корме черкес и мотнул головой на дальний берег.

Настигая путников, мчался берегом белый всадник. Он взмахивал руками и что-то кричал. Проходор бросил весла.

— Стой, стой! Пожалуйста погоди-и-и...—смутно доносился голос.

— Давай к берегу,—сказал Проходор.—Может, что забыли,—он ощупывал карманы: бумажник, книжка тут.

Проходор в белом всаднике узнал столетнего Никиту Сунгалова. Древний старец кое-как скатился со взмыленной лошади и враспяжку пал на землю:

— Ой, свет из глаз.

Белые порты и рубаха насквозь пропотели и прилипли к телу, лицо красное, словно старик выскочил из жаркой бани, рот жевал, глаза уходили под лоб. Пока Проходор доставал из сундука спирт, старик поднялся. Глоток спирту оживил его.

— Соколик мой, человек хороший,—сказал он Проходору и вытащил из-за пазухи кожаную кошну.—Было совсем из ума выжил, ох ты, Господи... Ведь мимо монастыря побежишь-то ты.. Так, так... Ну, так вот тебе десять рублей, дружок. Закажи там монахам сороковуст. Пусть поминуют Микиту... Меня Микитой кликать-то. А фамиль не объясняй. Богородица и так знает, что за Микита за такой. Одначе, впрочем говоря, напиши, мол, раб божий старец Микита Сунгалов, из казацкого роду. На всяк случай чтобы... А то в Оськиной тоже Микита недавно помер, в роде меня—старый пень.

Путники с умильным удивлением смотрели на него:

— Да ведь ты живой!—воскликнул Проходор улыбаясь.

— Горя мало... В Покров умру,—спокойно сказал старик.—Мать моя приходила за мной: «В Покров, говорит, я тебя, сынок, покрою, приготовьсь». А просвирку-то купи, малый, самую большую, за пять алтын, либо за двугривенный. Теперича плывите с богом... Ну-ка, посади меня.

— Что ты, дедушка Никита,—слезливо сказал Проходор, помогая ему взобраться на лошадь.—Еще встретимся с тобой.

— Это верно, что повстречаемся. Только не на земле, браток... Господь тебя благослови, Господь тебя благослови. Плывите, не страшитесь, реку не кланите, она вас выведет. Река—что жизнь.

— Отдохнул бы...

— Я шажком теперича, тихохонько... Плывите, провожу я...

Белый дед долго виднелся на зеленой хвое и крестил широким крестом плывущую ладью.

Еще четыре дня подвигались путники вперед под манящими лучами солнца. Дни были безветренные, теплые, вечера с золотым закатом, а ночи—звездные, с крепким инеем; путники стали мерзнуть. Проходор ложился спать не раздеваясь. Ибрагим чаще подбрасывал в костер сухих смолистых пней.

День стал короток, вечер наступал быстро, почти сразу же после заката, и торопливый сумрак охватывал собою все кругом: плыть становилось невозможно, и путники, измученные бесперерывной работой, все-таки принуждены были урывать и сна часы. Они подымались задолго до солнца, по очереди досыпали в дороге, не пыльной, не тряской, единственной: все пути земные навек пригвождены к месту, только волшебный путь реки весь в вечном движении, даже мертвецки спящего умчит он на своей груди: почивай, проснешься в океане.

Угрюм-река повернула от Ербохомохли на закат.

На пятые сутки седым глубоким утром путники враз, словно по уговору, оторвались от сна и ахнули: была зима.

Густым ковром лежал повсюду снег, плешивые сопки нахлобучили белые колпаки, и тихое плесо, где стоял шитик, в одну ночь сковало льдом. Над головами клубился холодный туман он плыл неторопливо от таежных дебрей к бледному, еще не закатившемуся месяцу.

— Проща! Что же это? Цх...

Проخور не сразу пришел в себя. Его ошеломил этот внезапный переход от солнечных, почти летних дней к зиме, и все, что видел он теперь перед собою, представилось ему большим погостом.

— Вот так уха!—присвистнув, протянул он, стряхивая со своей бурки, под которой спал, целые сугробы снега. Развешанная у потухшего костра волгала от вечерней росы одежда была тверда, как кол.

— Есть хочу... Разводи костер,—спокойно сказал Проخور.—Не бойся.—Он зябко вздрогнул, схватил топор и со всех сил принялся рубить смолье. Кровь быстро потекла по жилам, и еще не окрепшая тревога схлынула.

— Как ехать? Лед кругом...—сказал черкес.

— Ерунда! Где наша не пропадала.

Черкес любовно посмотрел на него.

— Молодца, Проща! Пойдем мордам умыть.

Проخور взмахнул колом, лед хрустнул, как стекло, стрелами во все стороны сигналу щели, даль отозвалась веселым эхо.

— Давай бороться!—неожиданно вскричал, улыбаясь, Проخور.

И оба, сильные, бодрые, отфыркиваясь и во все горло гогоча, барахтались в молодых сугробах, облаком вздымая снег.

— Смэрть или живот?!—кричал черкес, брякнув Проخورа на обе лопатки.

— Жрать! Каши!

— Вари, а я пойду.—Ибрагим взял наметку и быстро зашагал вдоль берега.

Утро просыпалось. Туман исчез. Месяц истекал последним светом, побледнел. Подслеповато шурилась утренняя звезда над лесом, а белый колпак на высокой дальней сопке заалел.

— Эге, отлично,—сказал Проخور.—Солнце.

Бодрым треском трещал костер, весело клубился дым, куски сохатинного сала таяли в каше, шел сытный дух. Проخور то и дело бегал от костра на шитик, стребал там снег, стряхивал брезенты, околачивал обледенелые весла и багры.

Огромное, тихое, прикрытое ледяным стеклом плесо стало помаленьку облекаться в багряный цвет: лучи показавшегося солнца плавно скользили по глади льда, еще немного—пар пошел.

— Ерунда,—сам себе улыбаясь, сказал Проخور, солнце играло в его черных молодых глазах.

Каша была вкусная. Жмьхало в ней сало. Круто солил и ел с наслаждением, запивая кирпичным чаем с леденцами.

— Далее чисто! Быстерь!—размахивая наметкой, издали кричал бегущий к Прохору черкес.

— Быстро?

— У-у... Валом валит!..

С треском ломая лед, шитик медленно прокладывал себе дорогу. Работа была тяжелая. Руки устали взмахивать грузными баграми, градом струился пот, мозоли на ладонях кровоточили.

Солнце ленилось, лед упорно противостоял его косым лучам. Лохматый мороз прятался в белых куржаках тайги. Мороз, как заговорщик, плутовато подмигивал солнцу и посмеивался в бороду, глядя на взмокших людей, готовых разразиться бешеным проклятием. День перевалил за половину, а половина плеса была еще далече.

Прохор с сердцем бросил багор, сел на скамью и закурил папиросу. От первой—закурил вторую, от второй—третью. В глазах позеленело.

Ибрагим тоже бросил работу, подбоченился. По локоть голые мускулистые руки его дымились паром, большой крючковатый нос печально повис, как у индюка, углы губ потянулись к ушам, обнажив свирепо стиснутые зубы:

— Цх!

Обменявшись взглядами, они молчаливо поглядели назад, где чернела пробитая во льду траурная дорога и, вздохнув, молча принялись за работу.

Приближался вечер. Страшно хотелось есть, все тело ныло от дьявольских усилий, но медлить некогда, надо заслужить отдых, надо на чистой быстрине праздновать победу.

Солнце уходило на покой, коснувшись остывшим краем темной бахромы лесов. Ибрагим погрозил солнцу кулаком и плюнул.

— Урра!!—закричал, что есть силы, Прохор, когда шитик, порвав последнюю цепь ледяного плеса, быстрым ходом заскользил вперед.

Река шла все еще на запад, лучи солнца ударяли в глаза путникам, мешали верно править: шитик летел вслепую. Река была мелка, ложе усеяно булыгами и крупной галькой, которая с шумом перекатывалась течением. Дно шитика скорготало и потрескивало, ударяясь в камни. Путь быстр, податлив, но опасность грозила ежеминутно.

А вот и остров. Мрачной черной скалой, одетой в траур снеговых пятен, он выставил навстречу путникам свой острый злобный нос. Вправо открывалась широкая матерая протока, влево—едва виднелся узенький, поросший кустарником рукав.

Ибрагим повел шитик в матерую. Чрез добрый час, когда уже надвинулись сумерки, шитик с налету врезался в песок. Сгущавшийся осенний мрак кутал невидимкой все кругом. Пришлось на мели заночевать.

Ночи не было, был миг. Проснулись оба, удивились: да полно, спали ль? Как-будто только что легли. Но нет, уже появилось солнце, и снег кругом предательски блестел, слепя глаза. Вода, как и вчера, быстро скользила мимо шитика, впереди играли беляки.

— Сначала найдем, Прошка, ход... Выплывем на глыбь и—к берегу. Тогда горячий чай напьемся... Холодно.

Посиневшие, голодные, оба спустились без штанов в ледяную воду и наметками стали щупать дно. Вода грызла ноги холодными зубами. Иззявшие, измученные неудачей, с проклятием вернулись обратно: впереди ходу нет, река замыкается сплошной песчаной мелью, чрез которую еле переливает

тонкий слой воды. И так версты на две, на три. Что ж делать? Значит, вчера ошиблись ходом, надо было брать в узенький рукав.

— Леший ее знал... Бэз чалвэка, Прошка, пропадем...

— Пропадем. Дальше все острова виднеются. Без плана трудно. Карты такие большие есть, где все срисовано, называются—планы.

— Понимаю,—сказал Ибрагим.

После торопливого всухомятку завтрака с большим трудом сняли шитик с мели и, со всех сил упираясь баграми, стали тихо подыматься вверх, назад. Только под вечер пришли они к носу острова, который так же злобно, как и в прошлый день, смотрел на них трауром черных и белых пятен.

— Чорт знает, весь вчерашний труд пропал задаром,—закусил дрожащие губы Прохор и с досадливой тоской взглянул на пробитую в плесе ледяную дорогу: ее вновь сковал мороз.

— Надо стрэлой лететь, тогда выйдем... А мы двадцать верстов вперед, пятнадцать назад... Тьфу!—плюнул Ибрагим, всматриваясь в устье маленькой проточки.

— Надо по двести верст в сутки проплывать. Надо день и ночь плыть, Ибрагим.

— Мало ль чего надо!—крикнул черкес.—Дома надо сидеть!.. Куда чорт понес!.. Не шутка.

— Давай сделаем очаг на шитике, чтоб к берегу не приставать.

— Хоть бы какой шайтан встретить... Ни тунгус, ни чорт нэту. Тьфу!! Левая протока, куда направили шитик, стала постепенно расширяться, она быстра и глубока.

— Какой хитрый,—сказал Ибрагим, бросив весла: шитик самосплавом ходко подавался вниз.

— Кто хитрый?

— Кто вода!.. Маленький вода, гляди, какой большущий стал, большой вода совсэм вчера дурак. Поди, узнай...

— Гы, чорт... Слышь, опять шумит!

Впереди раздавался глухой рокот.

— Водопад в горах или порог?—тревожно прислушивался Прохор к нараставшему шуму.

Бессильное солнце садилось в тучу, сентябрьская зима все еще белела, куда ни взглянь. Где-то близко октавой промышал сохатый—лось.

— Гуси, Прошка, гуси!

Ибрагим схватил ружье и замер. С бодрым гоготаньем низко тянул вдоль реки табун гусей.

— Эх, срезать бы,—шепнул Ибрагим, захлебываясь древней страстью,—кунак, голубчик... Сюда, сюда!

Ловкий выстрел срезал гуся. Встревоженный табун сделал шумный круг над павшим в воду товарищем и с печальным гоготом помчался дальше, к югу.

— Он раненый! Догоняй!—кричал Прохор.

— Греби, греби!..

— Стреляй! Дай ружье!.. Дай сюда!!

— Греби, греби!!

Подбитый гусь уносился теченьем вниз, шитик настигал его, трещали весла, уключины скорготали, взвизгивали.

— К берегу, Прошка, к берегу!!—вдруг неистово завопил черкес. Порог!.. Алла! Алла!..

Увлечшиеся путники, не слыша и не видя ничего кругом, неожиданно очутились среди бушующих валов, в преддверии грозного порога.

— К берегу!!



— Пропали... Ой!

— Наляг, наляг!!

С треском хрустнуло весло и—к чорту.

— Пропали!

— Новое, где новое?!!

Проход вскочил и, схватив багор, сильными толчками в камни опруживал нос к берегу. В корме, стиснув зубы и весь побелев от напряжения, пыхтел черкес. Волны хлестали в борты лодки—вот вот опрокинут. Впереди, как сто зверей, люто ревел порог.

— Еще-еще-еще! Наддай!!

Второе весло—хрясь! и—к чорту. Но бой кончился: шитик вошел в тихую заводь и, весь пропитанный духом борьбы, передавшеюся ему от живых существ, победоносно пробивался к берегу.

— Фу-у-у...—протянул взмокший, дрожащий Проход. А Ибрагим только посвистал и крепко с плеча выругал и уплывшего гуся, и порог.

В них обоих еще горел момент борьбы, момент прилива сил, глаза полыхали, быстрым бегом била во всем теле кровь. Но когда все внутри их стало затихать, Ибрагим и Проход с трепетом подумали о только что минувшей схватке с Угрюм-рекой и ужаснулись.

— Проща, а если бы перевернуло нас?.. Что бы? А?

— Выплыли бы.

— Это худо. Надо утонуть. Что жрать стали бы? Где сухари, где все? Ой-ой, Проща.

— Да-а-а,—протянул в тупом раздумьи Проход и после короткого рздыха сказал:

— Обедать надо... Два дня не ели как следует.

— Никакой ни обэд... К свиньям обэд!.. Плыть надо... Тут сдохнешь... Пойдем порог смотреть.

Проход умоляющее взглянул на Ибрагима, тот, сдвинув брови, зло сопел. Проход понял, что надо подчиниться.

Огромные валуны на берегу покрыты снегом, скользки. Проход провалился меж камнями, упал, едва не сломав ногу. А вот и начало порога. Река здесь сдвинула почти вплотную свои скалистые берега. В эти узкие ворота валила вся вода сверкающей гладкой, без взмыров массой. Образовав саженный водопад, она с прохотом мчалась дальше, сразу поседевшая, бешеная, яро набрасываясь на грозно торчавшие из воды камни. Вода кипела, злилась, грохот и рев стояли неописуемый. Проход кричал Ибрагиму, Ибрагим Проходу, но ни тот, ни другой не могли расслышать даже своего собственного голоса.

— Вот тот камень самый страшный! На самом бою! Надо испытать!—кричал Проход, показывая на зеленый камнище: раз'яренная вода скатывалась с него седыми кольцами, как с огромной, приподнявшейся над бурлящим потоком башки чудовища.

— Проща! Тот камень—смерть!!—беззвучно кричал и Ибрагим, швыря булыжником в тот же камень.—Не миновать его.

Он взял обрубок дерева и спустил в самый слив. Обрубок быстро заскользил по водяной горе, захлебнулся пеной и с наскоку долбнул торцом в лысый камень.

«Так нельзя, надо левее плыть»,—подумал Ибрагим и спустил вторую чурку, полеее. Но и она в водовороте помчалась к камню. Проход понял опыт Ибрагима и тоже стал пускать поплавки. Все струи бешеного течения били в камень: куда бы ни спустили чурку, она неизбежно неслась, как к магниту, к зеленой плешу чудовищной башки.

Обескураженные, печально поплелись к шитику.

— Что ж делать?

— Плыть,—сказал Ибрагим твердо.—Зимовать что ли тут...

Выбора не было—где плыть. Один путь: в широкое хайло смерти. Вопрос, когда совершить самоубийство: немедленно, на пустой желудок, или сначала наесться доотвала и в завершение пуститься в смертный бой. Пусть он будет последней чарой игривого вина, отравленного сильным ядом.

Но когда дух взвинчен и рвется к победе, к гибели, в неизбежный бой—плоть безмолствует: у путников вдруг исчез алчный пред этим аппетит.

— Конечно, едем.

Ибрагим поддерживал в Прохоре возбужденную предстоящей схваткой бодрость, называл его джигитом, отрывочными, нескладными фразами рассказывал о тех опасностях, которым ежеминутно подвергается горный, на Кавказе, житель. А постоянные набеги, стрельба, удар кинжалом в грудь. А знает ли Прошка мечь, кровавую мечь на Кавказе? О, штука страшная, не этому паршивому порогу чета. Из рода в род.

— Ничего, джигит, нэ робей. Нэ умрем... Целы будэм!

— Я знаю, что не умрем, выплывем.

— Молодца, джигит!.. Всегда так... В бою чалвэк спеет... как... пэрсики. В двадцать лет орлом будышь. Ничего, джигит... Молодца. Кынжал, как закаляют, знаешь? В огонь да в воду—жжих!.. В огонь да в воду... Так и чалвэка надо... Крэпка будышь, сильна будышь!

Прохор глубоко свободно дышал, глаза его все еще горели, и жег щеки молодой задор. Он внимательно любовно слушал Ибрагима и проникался к нему уважением, как к отважному герою.

— Вот только продукты... Мало их у нас. Недели на две, на три,—сказал он.—Может, перенести их за порог? А то вдруг опрокинемся.

— Ерунда,—резко оборвал его черкес.—Нэ надо думать. Будышь думать—утонешь, нэ будышь думать—нэ утонешь. Цх!

Вечер угасал. Кругом неуютно, одиноко, холодно. Порог ревел седым древним ревом, и, казалось, редела вместе с ним озябшая тайга.

От неумолчного шума и туденья у Прохора кружилась голова, замирало сердце. Но опьяненная душа его—на крыльях.

Вместе с Ибрагимом подплывали к воротам в ад. Ад кипел и пенился. С шитика, все более и более увлекавшегося течением, буруны волн казались огромными, страшными. Как могилы на заклятом погосте, они росли, проваливались, вырастали вновь.

Заря была холодная, желтая. И кругом было жутко: холодный погост, холодные могилы, смерть. Шитик от страху закрыл глаза, незряче мчал вперед.

— Простимся, Ибрагим... На всякий случай... Прощай, Ибрагим...

— Зачем прощай!.. Здравствуй!

— Прощай, Ибрагим!

— Джигит!..

И все потонуло в грохоте. Ярko вспыхнула заря на небесах. Громяющим огнем засверкали брызги, шипя и взвизгивая закувыркалась, запрыгала тайга, небо упало в волны, и все клубилось в адском бешеном котле.

— Греби, греби!!

— Ух-хх!

— Молись Богу!

— Право держи!!

Крики, грохот, гул. Конец.

## ГЛАВА XII.

ПОЧЕМУ ВДРУГ ЗАНЫЛО У АНФИСЫ СЕРДЦЕ? МОХНОРЫЛЫЙ МИСТИК.  
«ЗЕРКАЛЬНАЯ» ПРИМЕТА. ОТЕЦ ИПАТ ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ. «ПРА-  
ЗУВАЙ!».

Кажется, время было бы Прохору и весточку о себе подать, ведь на са-  
нях уехал, чуть весна обозначаться в небе стала, а теперича белые мухи за-  
кружились, вот-вот Покров придет. Время бы Прохору до Крайска-города до-  
браться, а там, сказывают, по струне стафет во все концы сигает, стало быть,  
и в здешний городишко можно бы стафет прислать. Ездил в город за стафе-  
том приказчик Илья Сохатых, ни с чем вернулся: лишь красного сафьяна на  
сапоги себе привез да маскарадных, к святкам, харь.

Так думала о судьбе своего сына робкая, забитая Марья Кирилловна,  
скучало ее материнское сердце, и сны она видела недобрые. Кусок не лезет в  
горло, похудела, вот все бы сидела да и думала о нем, о ненаглядном Прохоре:  
где-то он, где-то бедная его головушка, в этакую страсть поехать, да еще с  
каким-то черкесом неумытым.

А отец, Петр Данилыч Громов, что ему?.. Гулеванит себе во здоровье  
с Анфиской подлой, сорит деньгами. В открытую теперича пошел.

Две раны в сердце Марьи Кирилловны:

— И как тебе не стыдно, Петр Данилыч?.. До седых волос дожил, а  
сам... Обидно ведь...

Но другая рана горше—день и ночь огнем горит:

— Сын, Прошенька... Жив ли?

— Ты вот сладкой наливкой меня чествуешь, а что в сердце моем—не  
примечаешь,—говорил Петр Данилыч темным сентябрьским вечером, попи-  
вая чаек в накладку у любезницы своей Анфисы Петровны Козыревой.

— Твое сердце с перцем,—играючи, погрозила Анфиса своим мизин-  
чиком и засмеялась.—Хитер ты больно, впустую хочешь со мной сыграть.  
Смотри, не из таковских я. Ни с чем от'едешь.

— Пригожа ты, а ум у тебя, как у кошки у слепой. Я про сына речь  
веду. Понимаешь, нет?

— Как не понять, не понимаю. Хи-хи-хи...—и вдруг вся изменилась,  
кольнуло ей что-то в сердце, помимо воли, так, налетело неведомо откуда,  
вдруг.—Ты про сына речь ведешь? Да уж сын ли он тебе? Да, полно, не под-  
кидьш ли?

— Чего такое?

— Неужто своего сына кровного послал бы на погибель? Ведь на поги-  
бель, а, Петруша?

— Молчи,—угрюмо сказал Петр Данилыч, глядя на ее губы, на ее бес-  
печальные, внезапно загрустившие глаза.

И оба пили чай молча, наливку пили молча, ни слова больше, трудно го-  
ворить.

Домой ушел Петр Данилыч не простившись. Ночь была. Под ногами, как  
тонкое стеклышко, болочке потрескивал новорожденный ледок на лужах, и  
сердцу отцовскому становилось больно.

Анфиса же долго мучилась бессонницей. Всю ночь сама себя спрашивала  
и не могла ясный ответ сыскать: почему вдруг заныло ее сердце, почему мил-  
ый мальчик на мысли всплыл неведомо откуда, так вот, вдруг?

И запомнила она этот вечер, эту ночь странную, и не хотела бы запо-  
минать, но помимо ее воли, не спросясь ее, велел кто-то запомнить на всю  
ее, Анфисину, беспокойную жизнь.

— Жив ли?

Ночевал в эту глухую ночь в доме Громовых какой-то вшивый бродяга Иван Непомнящий. Пожалуй, и не пустила бы к себе за порог такого гостя Марья Кирилловна, да приказчик Илья Сохатых с купеческой кухаркой, краснощекой Варварушкой упростили—пусти да пусти, может, он в самых тех краях слонялся.

Бродяга, что монах, сытно поесть на дармовщинку любит. Бражничал на дармовщинку бродяга бородатый за поздним ночным столом, чавкал жареную на бараньем сале картошку, мамонил пшеничный каравай и хриплым, пропитым голосом повествовал сидевшей на лавке, в грустной позе, Марье Кирилловне:

— Как же мне, барыня-сударья, не знать? Я все знаю до тонкости. И тунгусишек знаю. Тунгус, что зверь... Орда, и больше никаких. Он смиренный-смирный, а тут нападет на него блажной стих, возьмет да и пристрелит.

Марья Кирилловна испуганно качает головой.

— Неужели ты в самых тех местах был, на Угрюм-реке?

— В тех не в тех, а около. Кха-кха!

— Не подавись, нажрешься... Куда спешишь?—засмеялся пришедший на беседу из своей маленькой комнатки веснущатый Илья Сохатых.

— Кабы бражки чуток,—прохрипел бродяга,—рассказал бы я вам один случай... Кха!

Сходила Марья Кирилловна в свои покои, поставила пред бродягою стакан вина.

— Лет пять тому,—начал Иван Непомнящий, жадно проглотив огненную жижу,—вот в роде, как твой сын, поехал купец с товаром в тайгу и подручного прихватил с собой. Дело. Уехал, как в воду канул, и теперича все ездит. В третьем годе проходил я в тех местах, слышал—нашли быдто охотники костер, а в костре два шкелета. Дело. Надо полагать, это торговые и есть. Вот тут как... Кха!

— Царство небесное,—перекрестилась набожная хозяйка.—Как же это их, за что же?

— За горло, мать, барыня-сударья... За машинку! Сперва одного в костер башкой, а тут и другого тем же побытом...

Марья Кирилловна скорбно посмотрела с мольбой на потемневшую икону, а Илья Сохатых крикнул:

— Брехун ты, братец мой, бестия!.. Я сам из тайги. Поболе твоих тунгусов знаю. Только людей зря пугаешь, мохнорылый.

Бродяга в горячем споре клялся и божился, лез целовать икону и в такой азарт вошел, что начал явную нелепицу нести: чуть ли не сам он помогал тунгусам купцов в костер кидать.

Варварушка хохотала, Илья кричал:

— Вот уж хозяин придет, он те, бестия, накостыляет! Мистик какой, дьявол...

Однако, мохнорылому этому бестии Марья Кирилловна поверила нутром и всю ночь не могла отделаться от нервного беспокойства, охватившего ее: всю ночь стоял пред нею, в мыслях, Прохор, сын, и говорил ей: «молись, матушка, молись, мне тяжко».

В своей спальне, невеликой комнатке, пропахшей ладаном, богородской травой и водкой,—проспиртовавшийся Петр Данилыч, по случаю холодов, перекочевал с террасы на покой сюда,—Марья Кирилловна зажгла лампадку пред богатым, уставленным серебряными иконами кивотом и усердно, в больших слезах молилась Богородице и апостолу Прохору—да сохраняют во здравии страждущего и путешествующего:

— Эй, Господи, помоги, услышь!

А в кухне троица, бродяга с Ильей Сохатых да стряпуха, лишь заперлась на всю ночь Марья Кирилловна, стали бражничать: чай да наливка, у Варвары в печке купецкий пирог стоит, сам-то вред ли будет есть, поди сам-то на карачках от своей крали приползет, тыфу, тыфу!

Показывает приказчик запретные карточки; хохочет бродяга, Варварушка голосисто заливается. Илья Сохатых анекдотец забористый расскажет, бродяга пуще загнет—уши вьнут—шум, хохот, наливка к концу идет.

А чрез стену Марья Кирилловна шепчет не переставая:

— Богородица, сохрани... Заступница, избавь...—и ноет-ноет ее сердце.

Утром в столовой ни с того ни с сего настенное зеркало пополам треснуло. Пила в это время Марья Кирилловна чай, самовар пары пускал. Но и вчера, и целый год самовар пары пускал на зеркало, а вот сегодня:

— Умер!! Батюшки мои...—побелела Марья Кирилловна да скорей на кухню:—Варварушка, матушка... Знать-то с Прошенькой неладно... Зеркало треснуло напополам... Боже мой, Боже!

У стряпухи с наливки голову разносит. Не разобрав, в чем дело, завыла стряпуха в голос:

— Уж ни сафет ли черный сиганул к тебе в окно... Ой-ти мнешеньки...

— Зеркало напополам... Поди-ка, взгляни скорей.

— Ой-ти мнешеньки!.. И чего же мне глядеться-то?.. Только по рюмочке и выпила... Я за компанство... Уж извините... Бродяжка все...

Посмотрела на нее в упор сквозь слезы Марья Кирилловна, принюхалась к винному угару и, махнув рукой, в печали вышла. Накинула турецкий полусалок да к отцу Ипату, священнику.

Отец Ипат вставал до свету, он уже позавтракал тертой редькой с квасом и теперь, рыгая и посвистывая на веселый лад, мастерил под навесом ульи. В работающих руках пила визжала, белая крупа опилок падала на валеные сапоги, на отвердевшую под утренником землю.

— Зело борзд,—кратко заключил отец Ипат тревожную речь купчихи.—Что ж, можно и обедню... Отчего ж нельзя? А панихиду ты брось. Ни к чему это... О здравии надо.

Потом, наклонясь к самому ее уху, хотя возле никого не было, отец Ипат, улыбаясь живыми глазами, тихо заговорил:

— Выношр вернется, не горюй. А вот сам-то твой... Не ладно чего-то... Уж очень он яро принялся. Соблазн.

Марья Кирилловна вынула платок и засморкалась.

— Знаешь что?—продолжал отец Ипат.—Только ты ни гу-гу. С-глазуна-глаз с тобой мы. Жаль мне тебя, Кирилловна.

— А что же, батюшка?

— Ведь сам-то,—совсем тихо стал говорить отец Ипат,—сам-то разводиться с тобой хочет. Да ты не сморкайся, погоди... Не плачь, ради Христа... Ну, да это ему не удастся... Врет! Законы у нас на этот счет крутые: «Аще Бог сочел, человек да не разлучает». А все-таки упреждаю. Ухо остро держи.

Не старые, совсем еще не старые ноги Марьи Кирилловны,—ей всего тридцать шестая осень шла,—подгибались по-старушечьи, когда брела она домой от отца Ипата. В душе копилась злоба, но душа ее подобна решету, вся злоба иссыкала тут же, вместе со слезами, лишь горе оседало на доньшко, капелька по капельке росло, росло.

Подошла к дому, смотрит: два мужика ведут в крыльцо под руки пьяного Петра Данилыча.

— Господи, ни свет, ни заря!—всплеснула Марья Кирилловна руками.

— Это со вчерашнего,—улыбаясь рыжей бородицей, пробасил Силантий, растреклятой Анфисы сосед-шабёр.

— Эх, Петр Данилыч, Петр Данилыч,—укорчиво начала Марья Кирилловна, когда вдвоем осталась с мужем.

— Ну! Заныла зубная боль.

— В доме зеркало треснуло, погляди-ка... Примета самая худая... Прошенька-то наш, Господи...

— Молчать!—крикнул Петр Данилыч, покачиваясь среди комнаты.—Не в Прошеньке тут дело... Вот ты-то когда сдохнешь, зубная боль, ты-то?!

— А что я тебе, поперек дороги?

— Да! Прочь с моей дороги! Ух, ты!—он замахнулся грузным стулом под чехлом, Марья Кирилловна выбежала вон, и купец со всего маху пустил стул в зеркало:

— Нна!! Вот тебе твоя примета!

И под звон посыпавшихся осколков крикнул:

— Водки! Огурцов! Эй, Илюха!

Приказчик, как из-под земли, вынырнул из коридора и, услужливо безыеза пред хозяином, повел его.

— Ты куда меня, в спальню?

— Так точно. Потому вам надобен полный покой и отдых, как в благородных воспитанных домах.

— Хе-хе-хе... Ну, ладно, Илюха... Ты молодец у меня. Ты признаешь во мне полного комерсанта? А?

— Господи, с такими капиталами?! Как же иначе может быть? Вы и в нашем городе были бы без малого первым... Пардон...

Купец, самодовольно оглаживая бороду и прикрывая, сел на кровать:

— Раззувай!..

Приказчик подобрал манжеты и с брезгливой миной, которую он старался скрыть в масляной улыбке, стал стаскивать измазанные свежим навозом сапоги.

— Ишь ты, кудряш какой. Ты, Илюха, счастливый... Кудрявым, говорят, везет.

— Вполне ясно, Петр Данилыч... Ужасно мне везет. Пардон.

— Та-ак. С Покрова еще прибавлю тебе пятерку в месяц. А ежели в мой антирес войдешь, сразу четвертную надбавлю. Министром станешь жить! Понял?

— Мирси. А в чем же ваш интерес будет состоять?

Хозяин поднял на него припухшие глаза и хрипло засмеялся:

— Так я тебе, дураку, и сказал. Не маленький, поди. Можешь сам догадаться. Эх, ты, раскудрявая твоя башка со вшами.

— Мирси,—ухмыльнулся Илья, вытирая о ковер испачканные руки.—Больше ничего не изволили вторично приказать?—и пошел к двери.

— Стой, погоди! Вот что: слетай единым махом к Анфисе Петровне и выразишь ученым манером, что так, мол, и так, что хозяин, мол, кутил всю ночь с немцем-мельником, что мол о сыне скучает... Нет, этого не надо... А что, мол, желает ей покойной ночи... Понял? Ну, как ты это все сопоставишь, а?

— А очень просто,—откашлялся Илья.—Его степенство, господин комерсант такой-то, шлет...

— Т.-е. как: такой-то?.. Ах ты, сволочь...

— Дак это же, Петр Данилыч, только так говорится... Провозглашу, как архиерейский дьякон, полный почетный титул ваш. Ну, а почему же вы насчет времени изволили сбиться, осмеливаюсь доложить? Приказываете ска-

зять госпоже Козыревой покойной ночи, а теперича у нас самое настоящее утро, и снежок идет... Пардон...

— То-есть как утро? Что ты мелешь!

— Полный факт.

— Давай в таком разе сапоги... Надо магазин отворять.

— Что вы!.. Ложитесь спать... Вам требуется освежить все мозги сонным положением. А я, как Бог Саваоф, сейчас спущу шторы, и будет ночь.

— Хы, чорт какой!.. Ну, действуй, коли так.

Только приказчик за дверь:

— Стой, вернись!—вскричал купец каким-то поглупевшим, улыбающимся голосом.

— А что, Илюха, тебе моя баба нравится?

Тот вспыхнул и наморщил лоб.

— То-есть которая, Петр Данилыч?

— Дурак какой ты, Илюха. А? Ну, ступай теперя... И ежели аппетит есть, ничего, действуй... Соблодешь мой антирес, озолочу. А каков этот самый антирес, кумекай сам.

Оставшись один, Петр Данилыч то вздыхал, то улыбался. Взгляд его скользнул по образу, где помигивал в белой полутьме огонек лампадки, и купец вдруг засопел:

— Прощка, голубь!.. Спаси тебя Христос.—Через все его лицо катились слезы.

### ГЛАВА XIII.

#### ВЕТЕР. «ПЛОХО, ПРОШКА». ПЛЕННИК. САМЫЙ ТЕМНЫЙ УГОЛ ШИТИКА.

В два ясных дня согнало с берегов весь снег, и Угрюм-река синела под солнцем холодным блеском.

Путники все еще не могли изжить того острого ощущения, что, словно ножом, полоснуло их при спуске чрез порог.

— Жжжи!—и нету,—улыбался Ибрагим.

Все еще в ушах мерещился рев диких волн, и неостывшие души путников были под обаяньем чуда.

— Напролом пойдешь, всегда цел будышь. Забоишься—пропал твоя...—поучал черкес.

Солнце и торопливая быстрина реки делали свое дело. Вера в успех была очевидна. Что ж, еще каких-нибудь недели три и—город Крайск. Чорт возьми, как все-таки хорошо, как радостно жить на свете!

— Хватит ли нам припасов, Ибрагим? Пороху, дроби совсем пустяки.

— Хватит...

Тихим вечером закат был красный с желтыми закрайками.

— Ветер будет,—сказал Ибрагим.—Примечай.

Действительно, с полночи разыгрался ветер. Пришлось причалить шитик крепко-накрепко: волны с плеском ударяли в его борта, и тайга по берегам шумела.

Продрогшие путники пробудились рано. На песчаных отмелях крутил песок, словно зимней порой вьюга, и вся река—в свирепых беляках.

— Встречный!.. Вот это—дрянь,—сказал Прохор.

— Проплывем плесо, может, псвернет река.

Небо было безоблачно, Угрюм-река мощна.

Шитик взял на самую средину. Ветер бил прямо в нос. Течение под ветром как-будто остановилось, путники еле подавались вниз.

После сильной часовой работы Прохор взглянул назад: сизый дым от костра совсем близко. Черкес сошел с кормы и тоже сел в гребни. Шитик пошел ходчее. Но вот миновали шиверу с торчавшими камнями, и дальше началось тихое плесо. Шитик почти остановился. Ветер, бушуя, рвал сналету. Мачта дрожала, хлестал и трепался на ней краснобелый флаг. Блюю нестерпимо холодно, ветер с шумом врывается в рукава и хозяйничал под одеждой, охлаждая тело.

По прибрежным кустам путники заметили, что шитик гонит встречечения.

— Взад идем! Налегай, Прошка!—Но нехватало сил, шитик настойчиво влекло обратно.

— Попробуем бечевою.

В лямку впрягся Ибрагим и, падая на ветер, побуровил шитик.

Прохор пытался разжечь сделанный в носу очаг, чтоб согреть онемевшие руки, но тщетно: ветер задувал огонь.

С прилеська несло песок, больно стегало в лицо, ослепляя воспаленные глаза. Задурившись и низко опустив голову, Ибрагим напряг всю силу, дышал, как конь, но шитик подавался туго.

— Ну-ка ты, Прошка!.. Устал.—Он бросил лямку и, шатаясь от изнеможения, пошел к шитику. Его одежду полосовал ветер, и концы белого башлыка, как две седые косы, стлались по воздуху горизонтально.

До самого вечера без толку бились на одном и том же месте. На другой день то же: солнце, ураганный ветер, беляки. И тайга шумела угрожающе. В путь не выходили, напрасный труд.

На третий день то же.

Вместе с остатками сухарей, крупы и пороха уверенность в успехе пропала, на яву стал сниться нехороший сон...

В пятом дне пробовали вывести шитик на середину. Трещали крепкие весла, скорготали, как нежить, холодные уключины. За шесты взялись, со всех сил упирались в дно, шесты гнулись в дугу, но вода была густа, как тесто, и упруга. У черкеса с треском обломился шест, и он плашмя упал в ледяную воду. Этим закончилась попытка. Снова костер на берегу, злоба в сердце и пробудившееся тайное отчаяние.

Подбадривали друг друга:

— Ничего... Вот кончится ветер, полетим стрелой.

— Нычего. Из робей...

Но глаза откровенней языка. Прохор спрашивал черкеса глазами и получал немой ответ:

— «Плохо, Прошка».

Мучительная неделя кончилась. И, как садиться солнцу,—ветер стих.

И радость за радостью—сон на веселое пошел: вдруг увидали оба: стоит у воды, возле залама, в меховой парке тунгус.

— Бойе, милый, здравствуй!—чуть не плача от радости, вскричал Прохор.

— Здраста, твоя моя...

Тунгус пожилой, безусый, сзади болталась черная косичка, глаза удивленно-испуганно шурились на подошедших.

— Ты реку хорошо знаешь?

— Знай... Наскрозь знай... Да-алеко... Конец знай...

— Когда мы выплывем?—спросил Прохор и, затаив дыханье, ждал.

— Не выплывешь. Вот маленько, и все заморозится... Кирепко.

— Как же нам быть?—робкий, безнадежный задал Прохор вопрос.



— Вылазь... Перезимуешь. Пойдем тайгам... Эге...

— Мы плыть хотим!—крикнул Прохор.

— Сдохнешь,—спокойно сказал тунгус, и стал усиленно раскуривать трубку.

— Ведь, недалеко.

— Да-а-леко. Мозор ужо, синильга. Пурга... Эге... Самый смерть.

— Проводи нас до Крайска. Сколько хочешь, дам.

— Нет... Моя не хочет... Мало-мало дожидай весна, тогда можно... Вода большой живет, бистерь... Пять дней допрет. Крайск—на другой реке стоит.

— Бойе, голубчик, ну, милый,—нежно заговорил Прохор, взял тунгуса за рукав, ласково по-детски смотрит в его узкие, прищуренные глаза.—Бойе, мать у меня там, на родине... Отец... Мать умрет, подумает, что пропал я. Ради Бога, бойе, проводи нас.

— Нет, моя не хочет...

— Зарр-эжу!!—вдруг гаркнул черкес и, схватив тунгуса за шиворот, взмахнул кинжалом.

Тунгус сразу на землю и, обороняясь, заслонился вскинутой рукой.

— Иди!

— Куда тащишь?

— Иди!!

За ужином ничего не говорили, на душе у двоих был праздник, у третьего зачинался неожиданный страшный сон. Тунгус не притронулся к пище.

— Нэ скачай, Прошка,—тихо ворчал Ибрагим, подталкивая юношу в бок.—Доведет... Реку знает. Прыкать будэм.

Тунгус свирепо на них поглядывал, озирался на утонувшую во мраке тайгу, посвистывал тайным призывным посвистом и что-то зло бубнил. Прохор пробовал заговорить с ним, но тот тряс головой.—Моя не понимает,—и упорно молчал.

Черкес уложил тунгуса спать, он крепко скрутил назад его руки веревками и привязал к стоявшему у самого костра дереву:

— Попробуй, убеги теперича.—И вновь погрозил кинжалом:—Эва! Цх!..

Темнобронзовое лицо тунгуса плаксиво морщилось, он пофыркивал носом и говорил сердито, отрывисто:

— Пошто злой?.. Худо злой... Пошто мучишь! Эге...

— Эва!—прозил черкес кинжалом.

— Доплывем, бойе, до Крайска, всего тебе дам: чаю, сахару, пороху...

— Дурак!!—крикнул тунгус и весь оцетинился, как рысь.—Дурак!! Как моя назад попадиль будет?! Как бабу бросать будет?! Баба здесь, олени здесь, все здесь... Пожалста отпуская, пошто крепко путал? Тьфу!

Он рвался, грыз зубами веревки, и, в бессильной злобе, горько завыл на всю тайгу.

— А это видишь?—сказал Ибрагим плутоватым голосом и, прищелкивая языком, стал наливать спирт в синий пузатенький стаканчик.

Тунгус вдруг смолк, глаза заблестели и,—словно сбросил маску,—заплаканное скорбное его лицо во всю ширь заулыбалось:

— Эге! Винка! Винка! Дай скорей! Дай твоя моя... Само слядко.—Он весь, как горький пьяница, дрожал, пуская слюни.

— А поведешь нас?

— Поведешь! Как не поведешь. Твоя-моя... Само слядко. Давай еще скорей!..

Как не поведет, конечно, поведет... Вот только утром он сходит в свое стойбище, захватит с собой припас, захватит ружье, велит бабе одной кочевать, велит ей белку, сохатого бить... Поди, он тоже человек, он понимает...

Как это можно людей бросить наобум: тайга, борони Бог! Неминухая смерть придет: никуда отсюда не выйдешь, смерть. А в Крайске ему все знакомо: купцы знакомы, чиновник знаком, еще самый главный начальник знаком, Степка Иваныч... у него пуговицы ясны, усищи во какие, сбоку ножик во, до самой до земли!.. Очень хорошо знаком ему Степка Иваныч, главный, имал, хватал, пьяного за ноги в тюрьму волок, по мордам бил.

Ибрагим улыбался. Прохор хмурил лоб и, разглядывая болтливого тунгуса, был неспокоен. Ибрагим угощал тунгуса спиртом, сам пил; угощал его чаем, кашей, сам ел. Подвыпивший тунгус сюсюкал, хохотал: он очень богат, все это место—его, и еще двадцать дней иди во все стороны,—все его... Оленей у него больше, чем в горсти песчинок... Он князь, он в тайге—самый большущий человек...

Но все-таки на ночь его еще крепче прикрутили к дереву и завалились спать у пылавшего костра.

— Ну, теперь нам не страшно, Ибрагим. Трое... Тунгус знает реку. Да ежели и зазимуем где, ему известно тут все. Ибрагим, дорогой мой, милый!..

— Ничего, кунак, ничего. Теперича хорошо.

— Матушка... Эх, матушка!.. Как она обрадуется. Вот-то заживем, Ибрагим!..

— Заживем, джигит...

— Окрепну годами—буду богатый, знатный... Буду честно жить.

— Знаю, богатый будышь, знатный будышь... Честный—трудно, Прошка.

— Буду!.. А приедем в Крайск, пирожных купим... Сто штук, Ибрагим!..

Очень я люблю пирожные...

— Шашлык будым делать. Чурёк печь. Пилав любим. Чеснок класть будым, кышмышь.

Сон черкеса крепкий, непробудный. Прохор слышал во сне звуки: пели, спорили, бранились и вновь пели стройно, безликие, звали куда-то Прохора, и сладко-сладко было слушать ему девьи голоса.

— Шайтан!!

Прохор вскочил и осмотрелся. День. Костер горит во-всю.

— Убежал, шайтан!—зубы Ибрагима скрипели, рука яростно хваталась за кинжал.

Прохор взглянул на крепкие болтавшиеся на дереве веревки и вдруг невыносимую ощутил в сердце боль. Он больше ничего пред собой не видел. Он еще не знал, что зимний нешуточный мороз сковал в ночь реку, и шитик, единственная надежда путников, до весны вмерз в толщу льда.

Прохор встал с земли и, молча, нога за ногу поплелся на утлый свой корабль. Он не почувствовал, как его, разогретого палящим теплом костра, вдруг охватил мороз. Юноша, словно лунатик или умирающая кошка, бессознательно залез под крышу, в самый темный угол шитика, уткнулся головой в мешок, где леденели жалкие остатки сухарей, и горько, захлеб заплакал.

#### ГЛАВА XIV.

*СУГРОБЫ. «ДАВАЙ, ПРОШКА, УМИРАТЬ...» СЫТНЫЙ УЖИН. ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА. СЕМЬ ВОЛКОВ. ЧЕРКЕС ТОЧИЛ КИНЖАЛ... БУРЯ. «А НУ,»—ВЗМАХНУЛ КИНЖАЛ... В ЭТУ БУЙНУЮ БУРНУЮ НОЧЬ...*

Весь день Ибрагим рыскал по тайге. Никаких следов человеческих, ни остатков тунгусского стойбища: коварный тунгус—как в воду.

Тайга была безжизненна и молчалива, даже белок не видать. Мороз крепчал, щипало уши Ибрагим туго завязал башлык. Как дикий олень, не

зная отдыха, он перемахивал огромные валежины, продираясь сквозь непролазные заросли: тайга пуста. Ибрагим пал духом. Ниоткуда не ждал он теперь спасения: пороху нет, спичек нет, пища на исходе. Как быть? Назад итти, в Ербохомохлю?—добрых полтыщи верст—дурак пойдет. Вперед?—неведомо куда. Сидеть на месте—дождаться тунгусов? Но беглец со страху, наверное, увел их всех на край света.

Измученный черкес вышел на берег. Желтели и краснели по берегам осенние кусты, с осин тихо сыпалось золото листьев, и, словно летом, зеленела кругом тайга. Но шумная Угрюм-река скована морозом, ледяной хрустальный гроб закрыл над ней крышку до весны.

Ибрагим с высокого яра сильно кинул в реку грузный камень. Лед от ушиба побелел, но не сломался, и камень, крутясь, заскользил, как по маслу, по ледяной коре.

— Цх! Плохо...

Белки его глаз окрасились желтым, щеки втянулись, неестественный оскал зубов придавал лицу выражение крайней растерянности.

Да, пожалуй, все кончено. Но ни слова, ни намека Прохору. Черкес знает, что с ним делать. Сначала Прохор, потом и он.

Ибрагим любовно и трепетно, с мистическим религиозным чувством взглянул на рукоятку своего неизменного товарища—кинжала и быстрой, легкой походкой пошел лоснящимся льдом к шитику.

Весь вечер, всю ночь, весь следующий день валил хлопьями снег, и земля на аршин покрылась сплошным сугробом. Ночью где-то близко, не переставая, ухал филин, он бормотал студеной зимнюю сказку, наводя жуть на одиноких, ожидавших своей участи существ.

Прохор, с головой укутанный буркой Ибрагима, тихо дремал. Тот несчастный день, когда бросил их тунгус, не прошел для Прохора даром: его трепала лихорадка.

Черкес сердит и мрачен. Чорт! Надо было бы ограбить тунгуса, отнять от него меховую парку. Если б попался он теперь, черкес вместе с паркой содрал бы с него живую кожу. Кровь? Пусть кровь. Вот он, Ибрагим-Оглы, сидит в одном легком бешмете среди снегов. У костра тепло, но как пойти за топливом? Коченеют руки, мороз навсозь режет ножами тело. О, если б встретить тунгуса, сотню тунгусов! Если тайге нужна жертва, всех их уложил бы вот этим кинжалом. Как шапки подсолнуха, полетели бы с плеч косматые головы, только б жив остался его молодой джигит.

Но джигит стонал, и час от часу ему становилось хуже:

— Ибрагим, голубчик... Дай еще хины... Укрой меня.

Так шли дни за днями, длинные, бесконечные. Сыпал, не переставая, упрямый снег, словно там, на небесах, бесповоротно решили завалить тайгу сугробами до самых до вершин. Ибрагим с ожесточением и тайным проклятием отребал снег широкой лопатой. Вскоре возле их стойбища воздвигся высокий, как крепость, снежный вал. У черкеса—бешмет, более теплой одежды не было. Плотню укутанный башлыком, из-за которого торчал кончик побелевшего носа и острый глаз, черкес, изнемогая от труда, потел. Но крепкие кисти рук зябли и распухали от холода, когда же отогревал их у огня—болезненно ныли.

С большим трудом он оттаял над костром брезент и кое-как смастерил шалаш в роде чума. В этом ипрушечном убежище с отверстием сверху костер давал много дыма. Ибрагим плакал и кашлял, Прохор задыхался. Когда же отпахивали полу брезента, чтоб освежить воздух, в чум вползал мороз. Ибрагиму мучительно хотелось есть. Но есть нечего. Остатки крупы он берег для

Прохора, сам сгрызал в день по небольшому сухарю и пил бесконечное количество кирпичного чаю.

— На-ка, джигит, кушай... Каша первый сорт. Ашай больше, крепка будьшь!

— А сам-то?

— Сыт... Ешь, нэ жалей... У нас всего много.

Ибрагим украдкой сглатывал слюну, когда же Прохор нырял под его бурку—черкес ляскал зубами, как оголодавший барсук.

А между тем время медленно ползло. Могильный снеговой курган возле палатки быстро рос. Границы между томительными днями стерлись—серая ночь неслышно сменяла серый снежный день.

Прохор поправлялся туго. Дух Ибрагима все гуще погрязал в унынии. Кругом чувствовалась смерть, и ее глухой неотвязный скрежет неумно глодал живую живучую душу человека. В помутившихся отупелых глазах черкеса застывала смертельная тоска, то вдруг рождалась непреклонная воля жить. Тогда весь он загорался нервным внутренним пламенем, суетливо надевал лыжи, выползал на божий свет и, изнемогая от холода, елозил изголодавшимися ногами по пуховому покрову зимы в надежде поймать нить жизни, которую авось подбросит ему судьба. Но темная тайна смерти бросала в его сердце лед: кругом мертво и пусто. Убитый, раздавленный, возвращался черкес домой, залезал под могильный холм и долго, бесконечно долго сидел угрюмый, неподвижный, тупо посматривая на бредившего во сне Прохора.

Когда вышли все припасы, черкес равнодушно сказал юноше:

— Ну, теперича, давай, Прошка, умирать. Пропали мы, Прошка.

Прохор недоуменно уставился воспаленным взглядом в костистое неузнаваемое лицо товарища, что-то хотел сказать, язык не повиновался, хотел заплакать, не было слез. Подбородок его неудержимо запыгал.

— Матушка... Милая моя, матушка...

Он залез под бурку, молча лежал там, скорчившись. Сморкался.

Вдруг черкес вскочил и, как ночная кошка, внезапно скрылся из палатки. Чуть-чуть хрустнуло и вздохнуло вдаль. Черкес наострил душу. В небе леделен мутный лунный круг. Бездонная была тишина. Темная, неясная тень виднелась у опушки леса.

С холодным кинжалом в крепко стиснутых зубах черкес кровожадно полз вперед, барахтаясь в сугробах. «Лось, сохатый»,—играло в его мозгу. Задрав вверх большую голову с ветвистыми рогами, лось глодал кору молодых осин. Близо. Глаза черкеса налились кровью, стали остры, как кинжал. И по клинку отпотевшего зажатого в зубах кинжала текла слюна. Дыханье обрывалось. Лось стоял боком к черкесу. Из ноздрей струйками вырывался пар. Слабый ветерок дул со стороны животного, и лось не мог унюхать дух подползавшего врага.

Черкес наметил место пониже левой лопатки и, с диким гиком ринувшись вперед, всадил кинжал по самую рукоятку в сердце зверя. Одурелый раскатистый крик на всю тайгу, саженный скачок черной тени вверх, удар копытом, чей-то дьявольский хохот, бубенцы и—все помутилось в глазах черкеса. Вместе с тяжким стоном он едва передохнул и потерял сознание.

Очнувшись, быстро ощупал руки. Они теплы. «Ага, недавно, значит». Кольнуло в правый бок. Черкес шевельнулся и вскричал от боли. Выпирая настывшую, обледенелую ткань бешмета, торчком торчало сломанное ребро. Черкес смелой рукой нажал и вправил его на место. Режущая боль полоснула ножом по нервам, и ребро вновь выскочило вон

«Зверь! Где зверь?»—мгновенно проблеснуло в голове и сразу утолило боль. Луна так же мутна и улыбалась. Черкес поднялся, крепко сдвинул ладонью правый бок и, согнувшись, безнадежным шагом пошел по следу. Сугроб глубоко взрыт, и вместе с мохом был расшвырян снег.

— Эге, кровь,—черкес надбавил шагу.

На прогалине, задрвав вверх задние ноги, весь изогнувшись в смертных корчах, валялся убитый лось.

— Якши! Якши!!—тихо, жутко, как помешанный, захохотал черкес и поспешил назад, к палатке. Дорогой не раз останавливался и коротко сто-нал.

— Проща! Живы будем! Пятнац пуд говядина есть!.. Шашлык есть, сало есть!.. Цх!

Проخور маятно поохивал под буркой, не отвечая.

Грязным полотенцем черкес туго забинтовал себе грудь и вновь ушел в тайгу. Перед утром вернулся с большим куском мяса и пушистой шкурой.

Весь день, не угасая, горел огонь, вкусным паром дымился котел с крепким мясным наваром. Проخور вяло глотал горячую пищу, Ибрагим же ел алчно, до одурения. Глаза его стали масляными и, как у об'евшегося зверя, сладко щурились, он громко рыдал.

Сон черкеса крепок, непробуден: поднявшийся в ночи дикий вой и грызня были не в состоянии прервать его. Зато Проخور, выставив из-под бурки отуманенную бредовым сновидением голову, долго прислушивался к стран-ным звукам:—буря ли, черти ли на кулачки билась,—и никак не мог понять, что происходит там, в тайге.

На утро Ибрагим, едва проснувшись, вновь принялся за еду. Изголо-давшееся тело ненасытно требовало пищи. Железные челюсти черкеса рабо-тали мерно, сосредоточенно. Накормив Проخورа крепким супом, он стал вы-делять кожу зверя, мял, крутил ее и клинком кинжала скоблил грубую мездру. В боку была нестерпимая боль, от которой сыпались из глаз искры. Но черкес, скрипя зубами, сдерживал стон, чтобы не тревожить Проخورа. Он говорил:

— Вот, кунак, будет тебе шуба... Нитки есть, игла есть. Якши... Те-перича, кунак, холод нам—тьфу! Мясо есть. Поправляйся, кунак, да и в путь... Прамо пойдём, тунгус найдем... А нэ найдем—тьфу!—сами выйдем.

Проخورу хотелось крепко-крепко обнять этого горбоносого, с большим лысым черепом и густыми лохматыми бровями, человека.

— Никогда не расстанусь с тобой... Ежели б не ты, смерть бы мне... Теперь знаю, что такое верный друг.

Сегодня Проخور лучше. Побежденная молодой силой, болезнь уходила под гору. Проخور повеселел. Вот окрепнет, наберет здоровья, и чорт ему не брат. Смастерят с Ибрагимом нарты, нагрузят лосиным мясом и марш-марш вперед.

— Ура, Ибрагим!

Под вечер черкес кончил шубу.

— На-ка, получай бобра... Все равно енот, все равно—лис... Давай бурка мне, ха-ха—теперича мороз—тьфу! Разводи костер, сейчас мяса при-несу: лосиный губа будэм варить, почка в сале жарить.—Черкес от удоволь-ствия зажмурился и смачно сплюнул.—Пойду.

Проخور надел сшитый на живульку лосиный длинношерстный тулуп и, как матерый, вставший на дыбы, медведь, выполз из своей маленькой тюрьмы. Он давно не выходил на белый свет и сразу захлебнулся свежим морозным воздухом. Глаза юноши воспалены от дыма. Болезнь глубоко вдавила их

в орбиты, отчего на лице его легла печать какой-то особой, выстраданной душевной чистоты.

Он шагнул за высокий снежный вал и огляделся. На земле и в небесах чужая, холодная зима. Деревья, как нежить,—белы, мохнаты, в инее: Они жались друг к другу и с тайным страхом смотрели из-под белых пуховых ветвей на человека: вот шевельнется человек, вот крикнет, и они распадутся в белый прах. Но человек стоял неподвижно, молча. Он никогда не видал белого серебряного леса, и взор его застыл в благоговейном созерцании. Белый кудрявый лес, белая даль, белесое чуть позеленевшее на западе небо. Белый месяц ясел и серебрился, словно неведомая рука торопливо счищала с него ржавчину. И кто-то стал швырять в небо бледные звезды, сначала скупом—по две, по три, потом целыми горстями, как пахарь новое зерно.

Когда обманные алмазы замерцали по всему простору и заискрилась снежная даль, Прохор очнулся, вздрогнул от бодрящего холода и вновь ушел в палатку к красноязыкому костру.

— Экая благодать, тепло как в шубе-то,—сказал он, раздеваясь, и сердце его наполнилось нежной благодарностью к утрюмому черкесу.—Почему же нет его? Не случилось ли что?—спросил он смолистую чурку и, не получив ответа, бросил ее в пламя.

Рука потянулась к записной книжке. Пальцы перевертывали исписанные страницы, взгляд рассеяно скользил по ним.

«Кажется, конец октября. Число неизвестно»,—низко наклонившись к огню, стал записывать Прохор. «Вот моя болезнь как-будто прошла. Я снова помаленьку оживаю. Может быть, ты, матушка, помолилась обо мне? Не тоскуй, скоро свидимся. Так хочется поскорей обнять тебя. Хоть на бумаге поговорю с тобой, милая. Я так далеко от тебя, что, грохай в царь-пушку, не услышишь. Жив я, жив, матушка! Отец, я жив!! Не скучайте. Вот напишу страницу, вырву и пошлю к вам с ветром. Или сам явлюсь во сне. Матушка, почему ты мне не снишься? Ибрагим, друг мой! Ты убил сохатого. Мы умерли бы от голода—я ведь знаю, что запасов нет. Что ты ни говори мне, Ибрагим, голубчик, я знаю, что крупа вся, сухари все. А теперь мы, слава Богу, сыты. Мясa хватит нам на полгода. Матушка, ура! Кричи—ура! Твой мальчонка жив-живехонек. Вот приедем и мы будем пить чай со сладкими пирогами и с вареньем. Покойной ночи, матушка! Кажется, идет мой избавитель, верный друг и слуга».

Действительно, за палаткой послышалось кряхтенье. Отпахнулась пола, вполз Ибрагим. Он сел к костру, обхватил руками колени, сгорбился. Прохор взглянул на него. Глаза черкеса были мутны, блуждали, и вся его сжавшаяся, пришибленная фигура сразу внушила Прохору тревогу.

— Что случилось?—тихо спросил он, пугаясь.

Черкес молчал. Размотал башлык, снял мохнатую папаху и сидел перед костром, втянув голову в плечи.

— А где же мясо-то?.. Ужинать бы.

Черкес все еще молчал, растерянно сплевывал в костер, наконец, проговорил глухим, неверным голосом:

— Нэ нашел я лося.

— Как!

— Чего кричишь?! Нэ нашел, говору... Нэт... Тэмно стало... Завтра Прохору очень хотелось есть.

— Свари, Ибрагим, каши.

— Нэт каша!—крикнул Ибрагим с желчью.

— Ну, дай сухарей... Чай скипяти.

— Нэт сухарь! Нэт чай! Ничего нэт. Вот две спички есть, спалим, чего станем делать?

Он говорил, словно ругался, отрывисто, резко и каждую фразу подчеркивал свирепым, с искоса, взглядом в сторону Прохора. Нежное чувство, которое Прохор питал к нему, вдруг покоробилось, и Прохору стало до боли обидно.

— Почему ты сердишься? Ты болен?—тихо, но укорчиво спросил он

— Нэ твое дело!

Костер уныло потрескивал, по стенкам палатки ползли серые бестелесные тени, куча обглоданных костей валялась возле опустошенных сум.

— Спи!—приказал черкес.—Завтра будем на воле... Завтра все будет... Сегодня—спи! Крепко спи...—он вздохнул и, закрыв глаза, уперся лбом в колени.

Сердце Прохора захолонуло, охнуло. Мрачное предчувствие вгрызалось в душу. Он не решался выспрашивать Ибрагима до конца. Да и зачем? Спи!.. Как уснуть в этот подлый час? Что будет завтра? Неужели тайга раздавит их?

Прохора стала бить нервная дрожь. Сначала застучали зубы, потом судорога прокатилась от плеч чрез все тело, к ногам, он трясся весь и подпрыгивал, не в силах совладать с собой. Плотно, с головою, он укрылся лосиной шубой, от которой несло кислотной и перепрелым мхом. Но дрожь продолжала трепать его с той же силой.

... Нет, не может быть, не может быть. На Ибрагима просто что-нибудь нашло. Завтра все раз'яснится, завтра они бодро тронутся в путь. Вперед, на запад, к Крайску!

«Фу, ты чорт... Почему так меня всего кострячит? Горячего бы чаю кружку... С ромом. Ужасно хочется есть. Эй, Ибрагим!».

Под шубой тепло и глухо...

Плывут над тайгой минуты и часы, заглядывают минуты под шубу, и каждый миг вырастает в час. Бесконечно длинно тянется время. Что-то среднее между сном и бодрствованием, что-то тяжелое, нудное шевелится под шубой, гнет юную голову, сосет испугавшееся сердце. Может быть, утро или еще ночь не кончилась?

«Волки».

Серые, тощие изогнувшиеся втрипогибели, сверкая голодными глазами, воют волки. Семь волков.

— Волки!—вскрикнул Прохор и очнулся. Он чуть приподнял шубу, замер. Заливчато заводил дикий, одинокий волчий голос, потом, отрывисто тьякнув, подхватывала вся свора. Где-то близко, совсем близко. Они сожрут коня. Они сожрут всех коров, овец, телят. Что ж думает отец?... Эй, вставайте...

— Волки!—опамятовался Прохор, сбрасывая шубу и озираясь на убогий холст намозолившей глаза палатки.

— Ибрагим... Волки... Они сожрут нашего лося... Эй!

Ибрагим все так же сидел перед костром, скрючившись и уткнув лицо в ладони. Вот он приподнял голову и сказал, посмотрев юноше в глаза:

— Спи, кунак. Это нэ волки. Волк нэт в тайга... Это ветер. Спи.

— Что случилось, Ибрагим? Почему ты говоришь, как плачешь? И глаза у тебя такие... А?

— Мой нэ плачет. Врешь ты. Мой никогда нэ плачет.

Он засопел, засморкался и вышел наружу.

«Волки»,—твердо решил юноша. «Вот оно что... В тот раз выли, теперь опять... Сожрали мясо. Вот почему такой убитый Ибрагим»...

Волчий вой то отдалялся поднявшимся ветром, то был слышен близко, визгливый, остервенелый. Прохору почудилось, что в звериное завывание вплетается жуткий человеческий стон. Нет, это гудит в ушах, это болезнь в голове ходит, конечно же, Ибрагим не будет так стонать.

Палатку трепануло сильным ветром. Облако снега, крутясь, ворвалось в дымовое отверстие. Вдруг загудела тайга. Вошел Ибрагим, твердый, решительный. Две глубоких складки лежали меж разметавшихся бровей, губы плотно сжаты.

— Выюга. Пурга идет,—отрывисто сказал он.—Ничего, крепись, джигит.—Он подсел на корточках к Прохору, положил руку на его плечо и с трогательной нежностью стал глядеть в глаза его.

— Что, Ибрагим, милый?.. Плохи наши дела?

— Якши...

— Яман?..

— Якши, якши! Бок—яман... Больно... Кость мозжит, рэбро...—Ибрагим засопел, брови его поднялись выше, он устало закрыл глаза и ошупью, словно слепой, водил ладонью по голове и плечам юноши:

— Я люблю тебя, Прошка... Люблю...—Он выдохнул эти слова с мучительной скорбью, словно навек разлучаясь с Прохором.—Люблю...

От волнения Прохор прерывисто дышал. Он поцеловал морщинистый мудрый лоб черкеса и, против воли, прислушался к себе: вот все в нем сотрясается, мятется. И, как агнец пред занесенным ножом, Прохор доверчиво смотрит на властителя своей судьбы. Но его сердце замирает, сердце что-то угадывает—страшное, неотвратимое,—которое слышится и в доносившемся тьякнании несчастных голодных зверей и в нарастающем злобном гудении леса.

— Спи!..—сказал черкес вновь отвердевшим решительным голосом.—Крепко спи, не просыпайся.

И от костра еще раз крикнул укладывающемуся Прохору:

— Прощай, Прошка!.. Прощай, джигит... Прощай!..

«Что значит—прощай? Почему—прощай?»—силил спросить Прохор и не мог.

С открытыми глазами Прохор лежал под шубой. Мысли мелькали мрачные, короткие, торопливые, как взмахи крыльев быстролетных птиц. В шуме, в говоре тайги роились эти пугающие мысли, в шуме, в визге, в грохоте они докатывались до сердца, опустошали сердце, вырывали из сердца стон. Тоска была смертная. И все эти чувствования, все обрывки неясных полувзвук-полуслов кто-то собирал в крепкую горсть, как разрозненные возки взбесившейся шалой тройки, и больно осаживал, и разжигал, и требовал: «есть!». Неукротимый сосущий голод.

«Есть!».

Но есть нечего. И завтра нечем обрадовать, обмануть желудок. А послезавтра?

«Прощай, Прошка... Прощай, джигит».

Черкес точил кинжал.

В шуме, в нарастающем гуле и говоре тайги Прохор чутко слышал: черкес точил кинжал.

Дизикающий, знакомый звук. Блестящий, холодный, пламенный, красный—этот звук ползет змеей под шубу, прищуривается и смотрит на Прохора стеклянным, острым, как комариное жало, глазом:



«Дзик, здик... Прощай, джигит».

Черкес наточит кинжал, убьет лося... Притащит лося в палатку.. Костер, огонь. Прохор улыбается, грезит сладко и под дзикающий железный звяк падает в сон, в ничто.

Сталь клинка, древняя, как человек, устала жить, устала жить и душа черкеса, такая же древняя, как сталь клинка.

Черкес точил кинжал.

Надо острее. Пробует на волосок: нет, туп кинжал. Надо острее, острее. Воспаленный взор, мозг, душа—все в скрытом пламени, как подземный пожар тайги. Сталь белая, с желто-синим отливом по краям, сталь живая, премудрая, сталь верная в могущественной, убивающей, любя, руке. Рукоять Ибрагимова кинжала насковозь пронзила землю, острие касается небесных золотых миров. Резкий режущий взмах—и земля соединится с небом, жизнь с прахом, существование с паки бытием.

— Ой, джигит, джигит...

Капли пота катятся по горбатуму носу в черную, густо запущенную бороду. И когда Ибрагим с надсадой переводит дух, тугая пружина его души раскручивается, шагнувший за пределы воспаленный мозг охладевает, возвращается на свое место, и душа отчетливо видит то, чему не миновать.

Губы шепчут:

— Тебе легко будет, Проща... А мне как? Ой, ой, Ибрагим-Оглы!.. Где твой Кавказ, где вино, виноград, пахучий миндаль? Алла-Алла...

Он поводит кругом мутными глазами, хватается за обмотанный бок, где ноет-мозжит разбитое ребро

— Кто наслал тайга волков? Будь проклят! Кто нас бросил тут околевать? Будь проклят! Да еще, да еще. Трижды проклят! Цх!!

Он уставился много видящими в этот час зоркими глазами на костер, на последний огонь в тайге, последнюю искру жизни. И вся его личная жизнь развернулась пред ним белым захватанным сажей свитком. Нищий мальчишка-пастух чужих отар, там, у себя, в горах Кавказа. Молодой, сильный джигит, первый из всех окрестных аулов наездник и стрелок. Бурная, как кипящая кровь, его любовь к черкешенке: он выкрал с джигитами из-под двадцати замков и, под свист разящих пуль, примчал ее в свою нишую саклю, усыпанную цветами с гор.

Но вот белый свиток его жизни кружится, крутится, как на огне бестра; черная сажа густо покрывает белизну, и жизнь черкеса становится холодной, серой, как пепел остывшего на могиле костра. Священная месть, кинжал, кровь. И черкес, разлученный с родной женой, повенчался железным венцом—кандалами—с каторгой на целых десять лет. О, будь ты проклят час рожденья. За что? Где ты, жена? Где ты, старуха-мать? Голод, холод, плети, кандалы, мрачные горы Акатуя. Где ты, зеленый виноград, розы, горячее солнце, густые чинары, песни, пляски у костров при звоне кинжалов? Где ты, сияющая лазурь и молнии, и грохот грома в родных горах? Эх! Все прошло, как сон.

Грузная от дум голова черкеса никнет к сонному костру, трубка выпадает из разжавшихся зубов. Черкес хватается за сердце, стонет.

А за ледяной палаткой вторит ему лютым плачем ледяная выюга, швыряет в костер острые снеговые иглы. Холодно, костер потухает, спичек нет.

— Прощай, джигит... Прости меня, джигит... Спи крепко...

Черкес вскидывает голову, берет в зубы трубку, резким движением крутит кинжал над своей лысой головой и торчмя ударяет в воздух:

— Цх! Так, верно...

Целует холодное лезвие и опускает в ножны. И вместе с кинжалом опускается в холодные потемки вся душа его.

Спасенья нет. Тайге нет края. Угрюм-река больше не подхватит их быстрый струг.

— Прощай, джигит.

Вдруг прозно и резко завывло все кругом: буря рванула с необычайной силой. Убогую палатку, как надувшийся мыльный пузырь, подхватило напором ветра и, ярю хлопнув полотнищем, отшвырнуло прочь. Вихрь враз засыпал костер снегом, и стала тьма.

Лишь слышно было, как скрежетала зубами пурга, как вырывала она с корнями деревья и с гулом валила на землю. Рывкали медведи, взлаивали лисицы, черный чорт свистал свою любимую, и седобородый мороз кряхтел, выпрастывая краснорожую башку из-под корневища:

«Ужо-ко... ужо... У-ууу...».

Могильный снеговой курган то ровняло с землей, то вновь нагромождало гору, нескончаемые бешеные вьюны крутились по всему миру, буря обламывала огромные ветви и птицей гнала их через пространство. Все смешалось в пьяной бесконечной кутерьме.

Черкес закашлялся, замотал головой—душила вьюга. Едва переводя дыхание, он нащупал кинжал и с отчаянной последней решимостью сбросил шубу с непробудно спящего джигита:

— А ну!—сверкнул кинжал.

В эту буйную, бурную ночь встала из своей надземной темницы Синильга. Словно облаком, охваченная лютым пламенем черного огня, мчалась сквозь мороз, сквозь ночь на волшебном своем шаманьем бубне-сердце туда, к нему, милому, далекому.

«Эй, стой, не умирай, бойе!..».

Ей не надо итти по-человечьи: высоко лежала в колоде, над землей, и путь свой держит над тайгою, над косматой бурей. Вся в скатном бисере,—красном, желтом, голубом,—вся в соболиных мехах,—губы ее алы, брови черны, бледное лицо в улыбке странной, и печальные глаза, навек закрытые.

В лунном царстве, в лунных голубых просторах мчится быстролетная Синильга к нему, милому, опасному.

Не умирай, бойе... Еще минутку. Гой!».

Громче бьет Синильга в бубен—грохочут бубенцы—кличет шайтанов, шиликунов, шиинг, зовет гагару-птицу заклятую, посвистывает:

«Гой, гой... фють!».

И ледяное ее сердце тает, и ледяное лицо алым цветом кроется, и мертвая кровь, замерзшая в жилах, как вода в ручьях, вдруг стала отходить да к сердцу, к сердцу. Ударило сердце и раз, и два, открыла глаза Синильга, огляделась. Лунное голубое царство голубело пред ее прекрасными глазами, желтый месяц набекренил золотую каску, подмигнул Синильге, приветливо полыхнул золотым пред Синильгой светом.

...— А ну!—взмахнул кинжал...

...Из голубого, озлащенного простора, ринулась Синильга вниз, сквозь ураган, сквозь бурю и меж блеснувшим, разящим, любя, кинжалом и доверчивым сердцем милого с разлету бросила свой шаманий бубен.

«Гой! Притупись, кинжал!..».

Словно воск, изогнулась в бараний рог закаленная сталь клинка, словно воск, обмякло любящее, ожесточившееся сердце.

Зашептала Синильга в два уха, в два сердца, в два помысла:

«Чу, чу! Бубенцы идут».

И шепчет милому,—а над милым смерть—склонила смерть костистую мудрую, мудреную голову,—шепчет Синильга тихо:

«Ты мой, ты мой... Вместе в гробу лежать будем, погоди... Вижу жизнь твою длинную, короткую... Занесется голова твоя за облака, а сердце—в вечном гробу, в червях. Вспомни тогда, бойе, Синильгу. Как блеск молнии, как скачок обоженного стрелой оленя, промчится жизнь твоя, хоть сто лет живи—скок!—и нету жизни... Где ж жизнь? Не было жизни, сон был, тягучий краткий сон. Возле тебя хожу с бубном волшебным, ой, длинна жизнь твоя, человеке. Стою, стою,—устану, сяду... А живешь. Сижу, сижу—устану, лягу—все еще живешь, бойе, и не видно краю твоей жизни... А вот взлечу далеко, на солнце, на звезду,—глядь,—и нету жизни... Родился, вырос, мертв. Коротка жизнь жизни человечей».

Слушал юноша этот сонный шопот, уста его улыбались, но черные брови дрожали от холодного страха. Проснуться бы. Погреться бы. Поесть бы.  
— Матушка! Ибрагим...

«Не зови, не стони, не охай... Я—Синильга, темная судьба твоя, по пятам пойду, след в след, и не заметишь. Размотаю весь клубок, длинный-длинный, с узелками, а порвется нитка—я тут как тут. Я судьба твоя, темная, немая... Я кручусь, кручусь, кручусь... Гой, гой, веселее! В бубен, в бубен!! Хохочу и плачу. Ой, горько хохочу над тобою, милый... Громче в бубен, веселей крутись, Синильга, плачь Синильга, плачь!».

И чует юноша: от бешено крутящейся шаманки ураганом бьет в лицо:

— Ой, холодно! Ибрагим...

«Я давно тебя, бойе, любила, всегда любила, всегда знала о тебе. Вспомни скорей, чего не было с тобой, а будет, будет... Я—Анфиса».

Застонал Прохор, заметался в тяжелом, кусающем до сердца бреде.

«Прощай, бойе! Прощай... Бубенцы гремят... Олени скачут... Приехали-и-и-и-и!».

---

Буря корежила деревья и, как траву сухую, с шумом, с воем мчала через реку их жалкие обломки. Бушующим ураганом пригибало к земле тайгу, все крутом осатанело. Горе слабому, горе сильному, живому, кого застигла эта отчаянная ночь.

А как же люди, двое? Угрюм-река, спаси, укрой!

...Нет...

Изначала дней положен предел Угрюм-реке, заповеданы законы. Равнодушная, суровая, слепая—сама в себе и для себя,—и никто не укротит, не обуздает ее бег под льдом и при солнце лета.

И было так. И будет так.

---